

Ярослав Золотарев

Фаусто и Мефисто: душа на продажу



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Ярослав Золотарёв

**Фаусто и Мефисто:
душа на продажу**

«Автор»

2026

Золотарёв Я.

Фаусто и Мефисто: душа на продажу / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

Барселона, 1929 год. Молодой врач Фаусто хочет от жизни простых вещей: денег, удовольствий, любви и свободы. И однажды встречает хромого элегантного незнакомца, который представляется строителем мостов. Мефисто готов исполнить любое желание — в обмен на душу. Но что делать, если богатство не приносит счастья, любовь невозможно удержать, идеальное общество не строится по плану, а история внезапно требует выбрать сторону? На фоне падения монархии, рождения Испанской республики, революционных надежд и приближающейся Гражданской войны Фаусто проходит путь от эгоиста, покупающего счастье, до человека, которому больше не нужна награда за собственный выбор. «Фаусто и Мефисто: душа на продажу» — современное переосмысление легенды о Фаусте, исторический роман о любви и смерти, свободе и ответственности, утопиях и революции — и о том, что однажды даже дьяволу может оказаться нечего предложить человеку.

© Золотарёв Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Барселона	5
Глава 2. Дьявол строит мосты	14
Глава 3. El dinero mueve el mundo	18
Глава 4. Шлюхи	21
Глава 5. Рита	28
Глава 6. Любовь	38
Глава 7. Нелюбовь	42
Глава 8. Перед бурей	50
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Фаусто и Мефисто: душа на продажу

Глава 1. Барселона

Тяжелым и совсем невеселым, неиспанским был 1929 год для города Барселоны.

Вообще говоря, Барселона не любила такие годы. Она предпочитала солнце, шум, яркие платья, торговцев, которые кричат громче, чем им необходимо, моряков, возвращающихся из далеких стран с одинаково убедительными рассказами о своих приключениях, женщин, которым всегда было куда спешить, мужчин, которым спешить было совершенно некуда, но которые всё-таки спешили, и вообще всякого рода беспокойство, потому что спокойствие, если оно и существовало на свете, Барселона считала разновидностью болезни, а больных здесь и без того хватало.

Город был прекрасен до безрассудства. Он лежал между морем и горами, белел на солнце своими новыми домами, темнел узкими улицами старого города, пах солью, камнем, кофе, лошадьми, дешевыми духами и чем-то еще, чему ни один ученый не придумал названия, хотя каталонцы с давних пор знали, что именно это и называется жизнью. На широких улицах появлялись автомобили, в витринах электрический свет делал товары богаче, чем они были на самом деле, в ресторанах звенели бокалы, в театрах продавались билеты, а на бульварах люди продолжали ходить с таким видом, словно мир был устроен исключительно для того, чтобы им было где прогуливаться.

Но в 1929 году за всей этой великолепной декорацией уже слышался неприятный шум, который говорил, что столбы трещат и кулисы скоро упадут, обнажая неприглядное.

Барселона готовилась к большому празднику — Всемирной выставке, которая должна была показать иностранцам и, что было гораздо важнее, самим испанцам, насколько прекрасна, современна и богата их страна. На холмах возводились дворцы, прокладывались дороги, строились павильоны, инженеры спорили с подрядчиками, подрядчики спорили между собой, рабочие работали, а деньги, как им это свойственно в подобных случаях, переходили из рук в руки с такой быстротой, что никто уже не помнил, откуда они взялись и кому первоначально принадлежали.

Впрочем, богатство это было несколько странного свойства.

Одни богатели, другие ждали, когда разбогатеют, третьи уже давно поняли, что ждать бесполезно, и потому начинали злиться. В рабочих кварталах люди говорили о зарботке и ценах, в богатых — о политике и бирже, в университетских аудиториях — о будущем человечества, а в правительственных кабинетах — о порядке. Последнее слово особенно любили произносить в те годы, когда порядка становилось всё меньше.

Испанией правил генерал Примо де Ривера, человек, который смотрел на страну с той суровой отеческой уверенностью, с какой некоторые отцы смотрят на взрослых сыновей, полагая, что те всё-таки еще слишком молоды, чтобы иметь собственное мнение. Газеты знали, что можно писать, а чего писать не следует; полицейские знали, кого следует спрашивать; граждане знали, что лучше не задавать лишних вопросов. Каталонцы, разумеется, знали гораздо больше, но предпочитали не сообщать об этом всем подряд.

И всё же Барселона продолжала жить.

Она смеялась, торговалась, ругалась, влюблялась, пила, танцевала и время от времени устраивала такие политические неприятности, что Мадрид снова начинал говорить о необходимости порядка. Барселона отвечала на это тем, что продолжала жить еще громче.

Именно в этом городе, в этот странный год, когда старый порядок еще стоял на ногах, но уже несколько шатался, а новый еще не родился и потому не мог никому объяснить, что именно собирается делать, жил доктор Фаусто.

Доктором его называли главным образом родители.

Сам Фаусто предпочитал, чтобы его называли просто Фаусто, поскольку слово «доктор» в устах матери звучало как начало длинной речи о благодарности, а в устах отца — как начало еще более длинной речи о долге.

Ему было двадцать семь лет.

Он был молод, достаточно молод, чтобы смотреть на тридцать лет как на отдаленную старость, и достаточно взросл, чтобы уже заметить, что двадцать семь почему-то совершенно не похожи на тот возраст, который обещали ему в двадцать. В двадцать лет человеку кажется, что в двадцать семь он непременно будет кем-нибудь значительным; в двадцать семь он обнаруживает, что значительность почему-то всё еще не пришла, зато пришли счета, необходимость искать работу и неприятное ощущение, что лучшие годы его жизни почему-то были потрачены на подготовку к самой жизни.

Медицинский факультет он окончил недавно.

Окончил хорошо, даже очень хорошо, чем доставил родителям величайшую радость и себе — некоторое количество неприятностей.

Родители его не были бедными в том смысле, в каком бедность понимали в Барселоне люди, которым действительно нечего есть, но богатыми они не были и никогда не надеялись ими стать. Они принадлежали к тому многочисленному сословию порядочных людей, которое существует во всех странах и эпохах, отличается исправной оплатой счетов, уважением к труду и совершенно необъяснимой уверенностью в том, что если человек будет достаточно много работать, то жизнь в конце концов заметит это и вознаградит его.

Они работали и экономили, отказывали себе в мелких удовольствиях, которые другие люди считали совершенно необходимыми для человеческого существования, и потому с некоторым удивлением обнаружили однажды, что их сын привык считать необходимыми совсем другие удовольствия.

На его образование ушли годы труда и почти все семейные сбережения, и отец, хотя говорил об этом редко, обладал особенным умением произносить несколько совершенно обычных слов таким образом, что Фаусто потом целыми днями помнил не только сами эти слова, но и выражение его лица, и даже то обстоятельство, в какой именно момент за обедом мать положила ему на тарелку вторую ложку картофеля, между тем как сама мать возвращалась к этой теме значительно чаще и гораздо мягче, что было, пожалуй, ещё хуже.

«Мы ведь делали это ради тебя», — говорила она, и Фаусто всякий раз обнаруживал, что не может придумать достойного ответа, поскольку формально родители были совершенно правы: он действительно получил образование благодаря им, действительно был обязан им всем, что имел, и потому должен был теперь, по их совершенно естественному представлению, начать работать, добиться хорошего места, стать хорошим врачом, завести приличную практику, жениться, обзавестись детьми и постепенно превратиться в человека, которым можно будет с удовольствием гордиться перед соседями, родственниками и, вероятно, перед Господом Богом, если тот, несмотря на всё более сомнительное отношение Фаусто к вопросам теологии, всё-таки существовал и интересовался судьбой молодых каталонских врачей.

Всё это представлялось настолько разумным, настолько правильным и настолько не допускающим никаких возражений, что Фаусто уже несколько месяцев испытывал при мысли о собственной будущей жизни смутное, но упорное чувство отвращения, словно кто-то заранее составил для него подробное расписание на несколько десятилетий вперёд, а ему оставалось лишь вовремя являться к указанному часу и выполнять то, что было предусмотрено программой.

Он никому ещё не говорил об этом прямо, да и самому себе, если говорить откровенно, старался не задавать слишком настойчивых вопросов, потому что ответы могли оказаться неприятнее вопросов, однако в тот вечер, когда он вернулся домой после очередной неудачной

попытки устроиться в клинику и обнаружил, что родители, сами того не подозревая, уже приготовились продолжить разговор о его будущем, ему предстояло наконец произнести вслух то, что до сих пор существовало лишь в виде смутного раздражения, дурного настроения и всё более настойчивого желания оказаться где-нибудь очень далеко от собственного дома.

Когда Фаусто вошёл в квартиру, отец уже сидел за столом и читал газету, хотя по тому, как он держал её перед собой и как время от времени, не переворачивая страницы, смотрел поверх очков в сторону двери, было совершенно очевидно, что содержание газеты интересует его значительно меньше, чем возвращение сына, а мать хлопотала возле буфета, переставляя с места на место тарелки, чашки и блюда с остывшими маслинами, как это делают люди, которым предстоит неприятный разговор и которые ещё надеются, что если достаточно долго заниматься совершенно посторонними делами, то разговор каким-нибудь чудом произойдёт без их участия.

— Ну? — спросил отец.

Фаусто снял пальто, повесил его на спинку стула и только после этого ответил:

— Ничего.

Отец сложил газету. Мать обернулась от буфета и посмотрела на него с тем выражением, которое Фаусто особенно не любил, потому что в нём одновременно соединялись жалость, тревога и уверенность в том, что человек сам виноват в собственном несчастье, если только несчастье не случилось с ним в детстве, когда отвечать за него было ещё не с кого.

— Что сказал доктор Ровира?

— То же, что и остальные. Что место уже занято.

Отец некоторое время молчал, затем спросил:

— А кто его занял?

— Не знаю.

— Как же ты можешь не знать?

— Потому что меня туда не назначили, отец.

Отец нахмурился, и Фаусто сразу понял, что разговор, которого он весь день старался избежать, теперь начнётся с той же неизбежностью, с какой зимой в Барселоне иногда начинается дождь: неожиданно, без всякого предупреждения и с неприятным ощущением, что именно этого тебе сейчас и не хватало.

— Я спрашиваю не о том, почему тебя не назначили, — сказал отец, — а о том, почему место получил другой. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду.

Конечно, Фаусто знал.

Отец говорил о знакомых, о рекомендациях, о связях, о том, что в хорошую клинику человека редко берут только потому, что у него хороший диплом, и вообще говорил о том мире, в котором прожил последние тридцать лет, тогда как Фаусто последние десять лет провёл в университете и потому считал себя вправе полагать, что мир устроен несколько иначе, хотя до сегодняшнего вечера у него не было ни малейшего доказательства собственной правоты.

— Тебе надо быть настойчивее, — продолжал отец. — Если один отказал, иди к другому. Если там нет места, ищи третьего.

Мать тихо поставила на стол тарелку.

— Может быть, тебе действительно стоит попробовать в другой больнице.

Фаусто посмотрел на неё и вдруг почувствовал раздражение, совершенно несоразмерное её словам, потому что она сказала именно то, что говорила всегда, — спокойно, доброжелательно и с той мягкой интонацией, которая превращала любой совет в нечто гораздо более обязательное, чем приказ.

— Прекрасно. А если и там не возьмут?

— Тогда в следующей.

— А потом?

Мать ничего не ответила, и отец сказал:

— Потом найдёшь своё место.

Вот это выражение Фаусто ненавидел особенно.

Своё место.

Словно для каждого человека на свете действительно существовало заранее приготовленное место, аккуратно обозначенное его именем, и вся человеческая жизнь заключалась в том, чтобы достаточно долго искать среди больниц, контор, школ, семей и могил, пока наконец не обнаружишь табличку с собственной фамилией и не сядешь туда, куда тебя определили ещё до рождения.

— Я не хочу искать своё место, — сказал он.

Отец посмотрел на него внимательно.

— А чего же ты хочешь?

Фаусто хотел ответить сразу, но почему-то не смог. Именно в этом, вероятно, и состояла самая неприятная особенность его положения: он совершенно ясно понимал, чего не хочет, и с каждым месяцем понимал это всё лучше, но всякий раз, когда от него требовалось назвать что-нибудь положительное, что-нибудь настоящее, способное заменить отвергнутое, перед ним возникала пустота, которая была гораздо страшнее самой ненавистной ему работы.

— Я не знаю, — сказал он наконец.

Отец откинулся на спинку стула.

— Ты не знаешь, чего хочешь, зато прекрасно знаешь, чего не хочешь. Очень удобно.

— А ты знаешь, чего хочешь?

— Я всю жизнь это знал.

— И чего же?

Отец пожал плечами.

— Работать. И чтобы моя семья ни в чём не нуждалась.

— Отец, это можно сказать о каждом человеке, который боится прожить жизнь впустую.

Отец медленно снял очки и положил их рядом с газетой.

— Ты думаешь, работа — это жизнь впустую? А что не впустую?

На этот раз Фаусто усмехнулся уже открыто.

— Не знаю.

Мать вмешалась прежде, чем разговор окончательно превратился в то, чем он уже начинал становиться.

— Не надо ссориться.

И тут произошло то, что впоследствии Фаусто будет вспоминать с некоторым удивлением: он вдруг почувствовал не гнев на родителей, а почти физическую усталость от их доброты, от их аккуратной жизни, от чистой скатерти, от воскресных месс, от разговоров о деньгах, которые всегда произносились шёпотом, будто сами деньги могли слышать своё имя и потребовать объяснений, от отцовских рук, огрубевших за годы работы, от материнских вечных забот, от всех этих маленьких жертв, которыми они окружили его с детства и которые теперь предъявляли ему счёт, хотя никто из них не признавался, что ведёт счёт.

— Мы ведь всё для тебя сделали, — сказала мать.

Фаусто закрыл глаза.

Он знал, что сейчас последует.

— Мы не покупали себе ничего лишнего, чтобы ты мог учиться, — продолжила она.

— Твой отец работал всё это время, ты ведь знаешь. Мы никогда не жаловались. Мы только хотим, чтобы ты теперь устроился.

— Устроился.

Он повторил это слово тихо, почти задумчиво, и вдруг ему стало смешно.

— Вы потратили десять лет, чтобы я получил возможность устроиться. А если я не хочу устраиваться?

Мать побледнела, а отец некоторое время просто смотрел на сына, словно тот произнёс что-то не просто неблагодарное, но почти неприличное. Он встал.

— Мы не требуем от тебя ничего невозможного.

Несколько секунд никто не говорил, и за окном проехал автомобиль, слишком громко для этого тихого вечера, а где-то в соседнем доме засмеялась женщина, после чего хлопнула дверь, и Фаусто вдруг подумал, что за стенами этой квартиры находится огромный город, полный людей, которые сейчас тоже ссорятся, любят друг друга, изменяют, лгут, пьют, смеются, работают, воруют, молятся и умирают, причём делают всё это совершенно без его разрешения и, что было особенно приятно, совершенно не интересуясь его дипломом.

Отец сказал:

— Тебе двадцать семь лет.

— Я знаю.

— Ты врач.

— Пока только по диплому.

— Ты здоров, молод, образован. И чего тебе ещё не хватает?

Фаусто посмотрел на него и подумал, что если сейчас сказать правду, то родители всё равно её не поймут.

Ему не хватало жизни.

Но как объяснить человеку, который всю жизнь считал жизнью именно то, что Фаусто хотел из этой жизни выбросить, что дело не в деньгах, не в работе, не в должности и даже не в свободном времени, а в каком-то совершенно неопределимом праве самому решить, зачем именно стоит просыпаться утром?

Поэтому он сказал только:

— Мне надоело.

Отец отвернулся.

— Тогда поживи один, — произнёс он.

Фаусто сначала даже не понял, что именно услышал, а потом увидел, как мать испуганно посмотрела на мужа, и понял, что отец впервые за весь разговор сказал не о работе.

— Если тебе кажется, что мы тебе мешаем, — продолжал отец уже спокойнее, — можешь снять комнату, можешь жить как хочешь, можешь сам за себя отвечать. Мы тебе не враги.

Последняя фраза почему-то оказалась самой тяжёлой. Фаусто хотел сказать, что никогда не считал их врагами, что он благодарен им, что понимает, сколько они сделали, что всё дело вовсе не в них, но вместо этого произнёс:

— Хорошо.

Он взял пальто и вышел. И только на лестнице, уже закрыв за собой дверь, Фаусто почувствовал, что впервые за многие годы ему стало по-настоящему страшно.

Фаусто вышел на улицу и некоторое время стоял у подъезда, не решаясь ни идти куда-нибудь, ни возвращаться обратно, хотя возвращаться было особенно некуда: квартира, в которой он прожил двадцать семь лет, вдруг показалась ему за закрытой дверью не домом, а каким-то учреждением, где ему, как врачу после окончания университета, только что сообщили об окончании испытательного срока и предложили впредь самостоятельно распоряжаться своей судьбой, что в устах отца звучало почти великодушно, а на деле означало весьма простую вещь — денег ему больше не дадут.

Впрочем, деньги в этот момент интересовали его меньше всего.

Он пошёл без всякого направления, сперва медленно, потом быстрее, словно надеялся, что достаточно быстрое движение способно удалить человека не только от дома, но и от собственных мыслей, и вскоре оказался на улице, где вечерняя Барселона уже начинала приобре-

тать тот особенный блеск, который заставлял приезжих принимать её за город, в котором все люди счастливы, а местных жителей — за людей, которым повезло родиться в декорациях к хорошей оперетте.

Барселона действительно была хороша. Фаусто не мог этого отрицать, хотя в этот вечер ему хотелось отрицать решительно всё.

Широкие улицы Эшампле, проложенные ещё по рациональному плану Сере, расходились от центра правильной решёткой, и дома, построенные здесь за последние десятилетия, с их внутренними дворами, балконами, коваными решётками, причудливыми фасадами и бесконечным разнообразием камня, казалось, были придуманы не архитекторами, а людьми, которые однажды решили, что даже обычная городская жизнь слишком скучна, если окна нельзя украсить чем-нибудь совершенно излишним; на Пасео-де-Грасиа зажигались фонари, автомобили пробирались между трамваями и экипажами, из открытых окон доносились голоса, смех и музыка, а на тротуарах гуляли хорошо одетые мужчины и женщины, которые, по мнению Фаусто, имели одну весьма существенную привилегию перед ним — они, по крайней мере, казались совершенно довольными тем, что существуют.

Он особенно не любил людей, которые выглядели довольными.

Впрочем, это было несправедливо, и Фаусто понимал это, но в тот вечер справедливость представлялась ему одним из тех добродушных человеческих предрассудков, которые хороши для проповедей и совершенно бесполезны в жизни.

Навстречу ему шла молодая женщина в светлом платье, рядом с ней — мужчина в безупречном костюме, и оба они говорили так оживлённо, словно судьба Европы зависела от того, куда именно они собирались сейчас — в кафе или в театр; чуть дальше мальчишка продавал газеты, выкрикивая последние известия, а возле витрины магазина двое господ рассматривали автомобиль с таким благоговением, словно перед ними стояло произведение искусства, хотя Фаусто, как человек, изучавший человеческое тело и потому привыкший относиться к большинству механических чудес с некоторым профессиональным равнодушием, никак не мог понять, почему человек способен часами любоваться машиной, предназначенной лишь для того, чтобы быстрее доставить его из одного места в другое.

Он подумал, что, вероятно, именно это и называется прогрессом: люди изобретают всё более быстрые средства передвижения для того, чтобы успевать быстрее приходить туда, где им всё равно нечего делать.

Мысль ему понравилась, и он немедленно признал её глубокой.

На углу Рамбла-де-Каталунья он остановился, чтобы закурить, и долго смотрел на прохожих, испытывая то приятное чувство превосходства, которое иногда заменяет человеку счастье и потому особенно опасно для людей образованных.

Он считал этих людей обывателями. Не всех, разумеется, но почти всех. Они торопились домой, в рестораны, к любовницам, к мужьям, к детям, в театры, в церкви, на деловые встречи и неизвестно ещё куда, причём каждый был совершенно уверен, что именно его маленькое направление имеет значение, тогда как город в целом продолжал двигаться независимо от их намерений, и Фаусто, глядя на этот человеческий поток, вдруг подумал, что, возможно, самое нелепое свойство человека состоит в том, что каждый считает свою жизнь центром мира, хотя для мира его жизнь не является даже особенно заметным обстоятельством.

Ему стало легче. Если весь мир был бессмыслен, то, по крайней мере, он не был обязан считать бессмысленной только собственную жизнь.

С Рамбла-де-Каталунья он вышел к площади Каталонии, которая совсем недавно получила новый, более законченный вид благодаря огромным городским работам, сопровождавшим Международную выставку, и здесь особенно хорошо было видно, что Барселона переживает странное состояние одновременно праздника и лихорадки: новые здания и отремонтированные улицы, электрический свет, автомобили, трамваи, вывески, толпы людей и

бесконечное строительство создавали впечатление, будто город торопится куда-то, куда ещё никто не успел ему объяснить дорогу.

На площади стояли люди. Фаусто подумал, что это, должно быть, и есть народ, о котором столько говорят политики. Он никогда не понимал, зачем политики говорят о народе. Народ, как он мог наблюдать собственными глазами, прекрасно существовал и без их помощи. А политики, наоборот, без народа существовать, кажется, не могли. Эта мысль показалась ему настолько разумной, что он почувствовал к политике ещё большее отвращение.

Вдали, за крышами домов, виднелась гора Монжуик, над которой поднимались новые сооружения Международной выставки, и в наступающих сумерках их очертания казались почти нереальными: широкая лестница площади Испании, башни, дворцы, огромные каменные массы Национального дворца, недавно построенные сады и дороги — всё это должно было показать Испании и всему миру, что Барселона современна, богата и готова войти в новое столетие с тем достоинством, с каким человек входит в дорогой ресторан, заранее убедившись, что у него достаточно денег на ужин.

Фаусто посмотрел на Монжуик с неприязнью.

Он знал, сколько стоили эти великолепные сооружения, знал, что город потратил на выставку огромные средства, знал также, что на строительстве работали тысячи людей, и всё же не испытывал к этому ни восторга, ни негодования, потому что подобные вопросы казались ему одинаково скучными.

Он спустился к Рамбле, и здесь город окончательно перестал быть похожим на тот аккуратный, почти рациональный город Эшампле, который он только что покинул: Рамбла тянулась широкой зелёной полосой между старым городом и более новыми кварталами, вокруг неё толпились продавцы, газетчики, прохожие, мальчишки, нищие, женщины с корзинами, господа в шляпах, солдаты и люди, которых невозможно было определить по одежде и потому приходилось считать просто подозрительными; здесь уже пахло не только кофе и духами, но и морем, конским потом, жареной пищей, табаком и влажным камнем, а из боковых улиц тянуло тем особенным запахом старого города, в котором века человеческого существования почему-то сохраняются лучше, чем произведения архитекторов.

Фаусто любил Рамблу. Он не хотел себе в этом признаваться, но любил. Здесь было слишком много жизни, чтобы относиться к ней равнодушно.

Он прошёл дальше, к нижней части бульвара, и увидел вдали порт, где над мачтами кораблей темнело уже почти настоящее ночное небо; Барселона смотрела в море, как человек, которому тесно в собственной комнате, и Фаусто вдруг подумал, что ему, вероятно, тоже тесно, только он пока не знает, где находится его море.

На другой стороне улицы мужчина смеялся, запрокинув голову, и Фаусто с раздражением подумал, что тот смеётся слишком громко; возле кафе молодая женщина поправляла волосы перед маленьким зеркалом, и Фаусто подумал, что она красива; затем ему стало досадно, что он это заметил, потому что красота в тот вечер казалась ему ещё одним способом, которым жизнь издевается над человеком.

Он был врачом.

Он знал, как устроено человеческое тело.

Он знал, что кожа стареет, зубы портятся, мышцы слабеют, сердце работает с известной частотой, а смерть является не трагическим исключением, а совершенно нормальным завершением физиологического процесса. И всё-таки женщина была красива и недоступна.

Фаусто пошёл дальше, сам не зная куда, и впервые за этот вечер почувствовал, что его злость постепенно уступает место усталости, а за усталостью, как это часто бывает с людьми, которые слишком долго спорили с окружающим миром и обнаружили, что окружающий мир не намерен отвечать им взаимностью, начинало проступать нечто гораздо более неприятное — страх.

Он не хотел возвращаться домой. Не хотел устраиваться в клинику. Не хотел становиться таким, как отец.

Не хотел всю жизнь считать деньги, ждать повышения, благодарить начальство, покупать квартиру, жениться на девушке, которую одобряют родители, растить детей, платить налоги, стареть и однажды обнаружить, что всё это время он был очень порядочным человеком и совершенно не заметил, как умер.

А чего же он хотел?

На этот вопрос у него по-прежнему не было ответа.

И потому Фаусто, доктор двадцати семи лет, прекрасно образованный, совершенно здоровый, достаточно красивый, чтобы нравиться женщинам, достаточно умный, чтобы презирать большинство мужчин, и достаточно бедный, чтобы не иметь возможности жить так, как ему хотелось, продолжал идти по ночной Барселоне, которая в этот час сияла всеми своими огнями и казалась ему одновременно самым прекрасным и самым бессмысленным местом на свете.

На площади Каталонии Фаусто встретил Мигеля, своего университетского товарища, который, увидев его, немедленно остановился посреди тротуара и схватил за рукав.

— Фаусто! Куда ты пропал?

— Искал работу.

— И нашёл?

— Нет.

— Опять отказали?

— Опять.

Мигель помрачнел.

— Я, кажется, знаю одно место. На улице Араго освобождается место в клинике, врач собирается уехать в Валенсию. Завтра узнаю.

— Не надо.

— Почему?

— Не хочу.

Мигель посмотрел на него внимательно, но не стал спрашивать, чего именно он не хочет, потому что, как и всякий человек, достаточно долго знакомый с Фаусто, уже знал, что ответ на этот вопрос обычно оказывается длиннее самого разговора.

Они пошли вместе по площади, мимо трамвайной остановки, газетного киоска и освещённых витрин, в которых вечерний город отражался вперемешку с манекенами, шляпами и лицами прохожих.

— Что у тебя вообще случилось? — спросил Мигель.

— Ты всё время говоришь: найди место, начни работать. Хорошо. А потом?

Некоторое время они шли молча.

— Послушай, — сказал наконец Мигель. — Я тоже не знаю, зачем мы вообще здесь. Возможно, никто не знает. Но завтра утром я пойду в больницу, потому что там будут больные, которым нужна помощь. Мне этого пока достаточно.

Фаусто ничего не ответил. Они дошли до перекрёстка. Мигель пожал Фаусто руку и ушёл.

Фаусто остался один и некоторое время смотрел ему вслед, испытывая раздражение, потому что Мигель, этот человек с его простой привычкой решать возникающие перед ним задачи, сказал за последние десять минут одну неприятную вещь, с которой невозможно было спорить: никто не заставлял Фаусто всю жизнь оставаться на первом месте, которое он найдёт. Это обстоятельство несколько ослабляло его теорию о всеобщей каторге. Тем не менее облегчения он не почувствовал.

Фаусто попрощался с Мигелем и, не особенно понимая, куда теперь идти, направился к Рамбле: возвращаться к родителям он не собирался, а денег у него было достаточно только на несколько дней, так что ночевать сегодня предстояло в дешёвой гостинице, где он когда-

то останавливался ещё студентом; он шёл туда сквозь вечернюю Барселону, уже не замечая ни огней, ни прохожих, ни музыки из открытых дверей кафе, и к полуночи оказался перед знакомой дверью, за которой начиналась его первая ночь самостоятельной жизни.



Глава 2. Дьявол строит мосты

Гостиница оказалась именно такой, какой и должна была оказаться гостиница для человека, впервые оставшегося без дома и без определённого будущего: узкая, тёмная, с вытертой дорожкой на лестнице, запахом старого табака и кухонного жира, с тяжёлой стойкой в маленьком холле, за которой дремал пожилой портье, время от времени поднимая голову на звук открывавшейся двери. Фаусто заплатил за комнату, получил ключ и поднялся наверх, но почти сразу спустился обратно, потому что в тесной комнате ему стало душно, а лечь спать было ещё рано.

В холле было почти пусто. За окном блестела после недавнего дождя Рамбла, по мостовой проходили редкие прохожие, откуда-то из соседнего квартала доносилась музыка, и Фаусто, сидя у небольшого столика с бокалом дешёвого вина, смотрел на отражения фонарей в стекле, когда напротив него вдруг остановился незнакомец.

Это был мужчина лет сорока, высокий, худой, в безукоризненно сидевшем тёмном костюме, слишком нарядном для этой гостиницы, с тростью в руке и заметной хромотой, которую он, однако, нисколько не старался скрывать; напротив, казалось, он даже несколько подчёркивал её своей манерой ходить, медленно и совершенно уверенно ставя трость на пол перед каждым шагом.

— Здесь свободно?

Фаусто указал на стул.

Незнакомец сел, положил трость рядом и заказал у портье коньяк.

— Неплохое место, — сказал он, оглядывая холл. — Дешёвое, но приличное.

И тут же проницательно посмотрел на доктора.

— День у вас, молодой человек, похоже был неудачным?

Фаусто впервые внимательно посмотрел на него. Лицо у незнакомца было приятное, даже красивое, с тонкими усами и несколько насмешливыми глазами, в которых не было ни тени той жалости, которую Фаусто успел сегодня увидеть уже не раз.

— Вы строитель? — ответил Фаусто вопросом на вопрос, заметив на его пальцах следы извести, и пытаясь ответить на его проницательность своей.

— Да, — ничуть не смутился собеседник, — я, знаете ли, строю мосты.

Незнакомец произнёс это совершенно спокойно, будто говорил о наиболее обыкновенном занятии на свете, затем получил свой коньяк, отпил немного и стал смотреть в окно. Фаусто допил вино, расплатился и уже собирался подняться, когда незнакомец сказал:

— Вам ведь некуда идти.

Фаусто остановился.

— Откуда вы это знаете?

Мужчина повернулся к нему и молча улыбнулся.

Фаусто хотел рассмеяться, но почему-то не рассмеялся. Через стекло за его спиной продолжала двигаться ночная Барселона, совершенно равнодушная к тому, что в дешёвой гостинице на Рамбле какой-то незнакомый строитель вдруг решил заняться чужими делами.

— Вы ошибаетесь, — сказал Фаусто.

— Разумеется. Но это легко проверить.

Незнакомец поднял бокал.

— Выпьем за то, что иногда ошибки оказываются полезнее правильных решений.

Фаусто поставил пустой бокал на стол и снова посмотрел на незнакомца, который всё так же сидел у окна, словно разговор уже закончился и теперь его занимала только ночная улица.

— С чего вы взяли, что мне некуда идти?

Незнакомец пожал плечами.

— Вы пришли сюда один, — продолжал тот, — заплатили за комнату вперёд, но попросили самый дешёвый номер. У вас нет багажа, кроме рюкзака, и вы не похожи на туриста.

— А на врача?

Незнакомец усмехнулся.

— Если вы и врач, то такой, который не может исцелить самого себя.

Незнакомец допил коньяк и поставил бокал на стойку. На несколько секунд между ними повисло молчание.

— Вы странный человек, — сказал Фаусто.

— А вы уверены, что я человек? — спросил незнакомец и поднялся, слегка прихрамывая.

Фаусто хотел ответить, но незнакомец уже направился к выходу, постукивая тростью по мраморному полу, и у самой двери обернулся.

— Идёмте.

— Куда?

— Покажу вам один мост.

На улице было холоднее, чем казалось из окна, и над Рамблой висел влажный морской туман, в котором редкие фонари расплывались жёлтыми пятнами. Фаусто пошёл следом, сам не понимая, почему не возвращается в номер, и почти сразу заметил, что город вокруг стал каким-то непривычно тихим: исчезли автомобили, закрылись кафе, даже шаги прохожих словно растворились в тумане.

Незнакомец свернул с Рамблы в узкий переулок, затем ещё раз, и вскоре они оказались там, где Фаусто прежде никогда не бывал, хотя прожил в Барселоне всю жизнь.

Перед ними стоял мост.

Он был каменный, старый на вид, с высокими перилами и двумя фонарями у входа, но за мостом не было ни улицы, ни площади, ни домов — только густая темнота, похожая на ночь над морем.

Странный строитель первым ступил на каменную кладку. Фаусто последовал за ним и только на середине моста понял, что под аркой нет ни воды, ни земли: внизу клубился туман, а сквозь него иногда проступали совершенно ясные картины — университетский кабинет, больничная палата, незнакомая женщина в красном платье, поезд, уходящий на юг, книги и деньги, разложенные на столе.

Фаусто остановился.

— Что это?

— Это ваши возможности, доктор.

— Мои?

Тут доктор впервые подумал, что он спит. А хромой строитель заметил:

— А мосты, знаете ли, бывают разные.

В этот момент где-то далеко ударил колокол, и все картины под мостом исчезли.

— Хотите перейти на другую сторону?

Фаусто посмотрел вперёд, туда, где за туманом начиналось что-то похожее на рассвет.

— А что там?

Незнакомец улыбнулся.

— То, чего вам хочется.

Фаусто сделал несколько шагов вперёд, и туман за мостом расступился, открывая другую сторону, где уже можно было различить улицу, освещённую утренним светом.

Они сошли с моста, и Фаусто вдруг обнаружил, что стоит на совершенно обычной улице Барселоны. Где-то далеко хлопнула дверь, проехал автомобиль, из открытого окна донёсся женский голос, а над крышами уже светлело небо.

Строитель достал из кармана небольшой лист бумаги.

— Вы ведь хотите жить так, как вам хочется?

Фаусто посмотрел на него.

— Да.

— Без родителей, без начальников, без необходимости всю жизнь ждать, пока жизнь наконец начнётся?

Фаусто промолчал.

— Я могу это устроить.

— А взамен?

Строитель протянул ему бумагу.

— После смерти ваша душа будет моей.

Фаусто рассмеялся.

— Вы серьёзно?

— Абсолютно.

Фаусто ещё раз посмотрел на бумагу. Там было всего несколько строк, написанных мелким аккуратным почерком.

— Допустим, я соглашусь. Что вы получите?

— Всё.

— А я?

— Всё остальное.

Фаусто поднял глаза.

— И сколько это продлится?

— Пока вам не надоест.

Строитель вынул из кармана перо и маленький флакон.

— Подпишите кровью.

Фаусто взял перо, но не торопился.

— А если я ни разу не скажу, что мне достаточно?

— Тогда вы выиграли.

Фаусто посмотрел на него с любопытством.

— А если скажу?

— Тогда я заберу душу.

Он поставил подпись.

На мгновение ветер прошёл по улице, и лист бумаги исчез из его рук.

— Поздравляю, доктор, — сказал строитель. — Теперь можете начинать жить.

Фаусто хотел спросить, что именно это значит, но незнакомца уже не было.

Когда Фаусто снова оказался перед гостиницей, уже начинало светать. Он поднялся в свой номер, запер дверь и долго стоял посреди комнаты, пытаясь вспомнить, каким образом оказался здесь.

Последнее, что он помнил совершенно ясно, — мост, туман и подпись на листе бумаги.

Потом ничего.

Фаусто снял пиджак, бросил его на стул и сел на кровать. Голова была тяжёлой, во рту пересохло, сердце билось чаще обычного.

— Прекрасно, — пробормотал он.

Вероятно, это галлюцинация от стресса, подумал доктор. Или я сплю

Но, прежде чем лечь, заметил на столе конверт. Внутри лежали деньги. Их было достаточно, чтобы несколько месяцев не думать о работе. Он пересчитал купюры дважды, потом ещё раз, словно надеялся обнаружить ошибку. Ошибки не было.

Фаусто потрогал деньги руками. Они не могли сниться. Он лёг, не раздеваясь, и почти сразу заснул.



Глава 3. El dinero mueve el mundo

Утром Фаусто проснулся поздно, с тяжёлой головой и неприятным ощущением, будто всю ночь ему снилось что-то чрезвычайно важное, чего теперь никак не удавалось вспомнить. Некоторое время он лежал неподвижно, глядя в потолок, пока события вчерашнего вечера не начали возвращаться одно за другим: гостиничный холл, хромой строитель, туманная улица, мост, странные картины под аркой, разговор, бумага, подпись кровью.

Фаусто сел на кровати.

— Чёрт знает что.

Вчера ему приснилось, что он продал душу дьяволу? Но ведь согласно науке, нет ни души, ни, тем более, дьявола.

Он посмотрел на стол.

Деньги лежали там же.

Фаусто пересчитал купюры, затем сложил их обратно и некоторое время задумчиво смотрел на свои руки. Всё произошедшее вполне можно было объяснить расстройством сна, алкоголем и переутомлением, а странного человека — случайным знакомым, который почему-то оказался в его сновидении; в конце концов, мозг способен производить самые причудливые комбинации впечатлений, особенно если дать ему для этого достаточно вина и бессонницы.

Но деньги мозг не способен производить. Фаусто взял одну купюру, внимательно рассмотрел её на свет и вдруг усмехнулся.

— Очень хорошо.

Если эти деньги не снятся, значит на них можно позавтракать в хорошем ресторане, не об этом ли мечтает половина Каталонии?

Фаусто вышел из гостиницы около полудня и, не особенно выбирая дорогу, пошёл к морю. День обещал быть ясным и тёплым, над крышами уже стояло яркое средиземноморское солнце, а после вчерашней ночи всё вокруг казалось немного нереальным, так что он решил воспользоваться этим состоянием и хотя бы один день прожить так, будто никаких вчерашних сомнений вообще не существовало.

На Рамбле он зашёл в ресторан, который ещё недавно прошёл бы мимо, посмотрев на цены в окне. Он заказал всё, что дорого стоило.

Сначала принесли поджаренный хлеб с помидорами, оливковым маслом и солью, затем небольшую тарелку с печёными баклажанами и красным перцем, после чего появился горячий рыбный суп с картофелем, мидиями и крупными кусками рыбы, пахнувший чесноком и морем. Фаусто попробовал всё подряд, запивая белым вином, и впервые за долгое время ел не потому, что был голоден, а потому, что ему было интересно, что принесут следующим.

Потом он заказал *fideuà* — широкую сковороду с тонкой золотистой лапшой, креветками и кусочками кальмара, к которой подали густой чесночный соус, — а на десерт *crema catalana* с тонкой хрустящей корочкой жжёного сахара.

Фаусто откинулся на спинку кресла и посмотрел в окно.

Море блестело между домами, по улице проезжали автомобили, прохожие спешили по своим делам, и вся эта прекрасная жизнь продолжалась совершенно независимо от того, существовал ли вчера ночью дьявол или же его мозг решил устроить ему необычайно убедительный спектакль.

Он подозвал официанта.

— Сколько?

Официант назвал сумму. Фаусто достал из бумажника купюру, расплатился и, выходя, вдруг остановился. Он вспомнил, что конверт с частью денег остался в номере.

Он вернулся в гостиницу, открыл конверт и пересчитал деньги. Сумма была той же, как будто он не заказал только что самый дорогой завтрак в своей жизни.

Фаусто пересчитал ещё раз. Потом достал из кармана ту самую купюру, которой только что расплатился в ресторане. Она вернулась обратно.

— Ну хорошо, — сказал он наконец. — Допустим.

После ресторана Фаусто поехал к родителям. Вчера он вышел из этого дома с рюкзаком за плечами и несколькими песетами в кармане, а теперь остановился перед знакомой дверью в новом костюме, с дорогими часами на руке и конвертом во внутреннем кармане.

Мать открыла ему и на мгновение замерла.

— Что случилось?

— Ничего.

Он вошёл, прошёл в комнату и положил конверт на стол.

Отец поднял глаза от газеты.

— Это вам.

Он раскрыл конверт и посмотрел на деньги.

— Откуда?

— Теперь это неважно.

Отец медленно пересчитал купюры.

— Здесь больше, чем мы потратили на твою учёбу.

— Остальное за проценты.

Мать смотрела то на сына, то на деньги.

— Фаусто, мы не хотели...

— Я знаю.

Он улыбнулся, поцеловал её в щёку и направился к двери.

— Ты ведь вернёшься? — спросила мать.

Фаусто остановился.

— Конечно.

Но уже на лестнице понял, что впервые сказал это не потому, что должен был сказать.

Решив дело чести Фаусто отправился на Passeig de Gràcia, где ещё вчера смотрел на витрины скорее из любопытства, чем с намерением что-либо покупать. Теперь он остановился у первой же витрины и обнаружил, что цены больше не имеют для него прежнего значения.

В одном из лучших магазинов готового платья ему предложили костюм из английской шерсти, тёмно-серый, с узкими лацканами и безупречной посадкой; Фаусто примерил его, посмотрел на себя в высокое зеркало и решил, что прежний костюм действительно был довольно жалким.

К костюму он выбрал несколько рубашек с жёсткими воротничками, шёлковые галстуки и пару туфель ручной работы, после чего продавец принёс ему шляпу Borsalino, и Фаусто, надев её перед зеркалом, неожиданно обнаружил в своём отражении человека, которому уже вполне можно было доверить собственную жизнь.

В соседнем магазине он купил кожаный портфель, а в ювелирной лавке долго рассматривал часы, пока не остановился на Longines в золотом корпусе.

— Заверните.

Продавец осторожно достал часы из витрины.

Фаусто впервые за много лет ничего не спросил о цене.

К полудню у него был новый гардероб, дорогие часы, портфель и ещё несколько покупок, которые он уже не помнил зачем сделал. Всё это складывалось в странное ощущение: деньги не изменили его самого, но почему-то весь мир вокруг внезапно стал обращаться с ним иначе.

Он вышел на улицу, надел новую шляпу и поймал своё отражение в витрине.

На этот раз ему понравилось увиденное.

И тут он заметил напротив ещё один магазин.

Фаусто улыбнулся и перешёл улицу.

После покупок Фаусто вышел к морю и долго шёл по набережной, наслаждаясь солнцем, лёгким ветром и тем особенным ощущением свободы, которое, как он теперь начинал понимать, было связано не столько с душевным состоянием, сколько с толщиной бумажника. Барселона сияла под чистым небом, белые здания отражались в воде, вдали медленно двигались корабли, а набережная была полна людей, приехавших сюда со всех концов Европы за солнцем, морем и той лёгкой жизнью, которую в других местах приходилось заслуживать годами.

Фаусто остановился у парапета и достал сигарету.

Теперь ему было доступно почти всё.

Он мог снять прекрасную квартиру, купить автомобиль, путешествовать, есть в лучших ресторанах, не думать о работе месяцами, а если захочет — вообще никогда больше не работать. Он мог уехать в Париж, Рим или куда-нибудь ещё, где прежде существовали для него только названия на карте; мог знакомиться с женщинами, покупать книги, пить дорогое вино и просыпаться тогда, когда ему самому вздумается.

Вчера он не знал, что будет делать через неделю.

Сегодня ему было всё равно.

Фаусто улыбнулся.

Впрочем, оставалась одна небольшая странность: та история с душой.

Он снова вспомнил мост, туман и подпись кровью, но теперь это казалось почти забавным. Душа — понятие религиозное, не научное; за годы медицинского образования он ни разу не обнаружил её ни в анатомическом театре, ни в учебнике физиологии. В дьявола он тоже никогда не верил.

Если прошлой ночью ему действительно приснилось, что он продал душу, то беспокоиться было не о чем.

А если это был не сон, то тем лучше.

Деньги в любом случае оказались настоящими.

Фаусто выбросил сигарету в море и пошёл дальше, впервые за много лет совершенно не представляя, что будет делать завтра.



Глава 4. Шлюхи

Вечером Фаусто долго не мог решить, куда ему пойти. Барселона предлагала слишком много развлечений человеку, который ещё вчера должен был думать о том, где взять работу, а сегодня обнаружил, что может позволить себе практически всё, что ему придёт в голову.

В конце концов он решил, что начинать следует с самого простого.

Ему хотелось женщины.

Не любви, не знакомства, не обещаний и не той неопределённости, которая неизбежно появляется между мужчиной и женщиной, когда один из них начинает ждать от другого чего-то большего, чем несколько приятных часов. Фаусто хотелось именно удовольствия, причём такого, которое можно получить сразу, не объясняясь, не ухаживая и не думая о завтрашнем дне.

Ещё вчера такая мысль показалась бы ему недоступной не потому, что он считал её предосудительной, а потому, что подобные удовольствия требовали денег, которых у него не было. Теперь препятствие исчезло.

Он вспомнил вчерашний разговор с незнакомцем и усмехнулся: если уж дьявол действительно решил сделать его богатым, было бы невежливо не воспользоваться его услугами.

К ночи Фаусто оказался в одном из дорогих заведений Барселоны, где музыка, вино, духи и женские голоса смешивались в тёплом полумраке, а деньги открывали двери, перед которыми ещё недавно ему оставалось только проходить мимо.

Фаусто шагнул с Калле-де-Фернандо на узкую улочку, где фонари горели реже и тьма сгушалась между домами, как чернила между страницами. Запах моря — солёный, йодистый, с привкусом угля от портовых кранов — преследовал его на каждом шагу, мешаясь с тяжёлым ароматом жасмина, что свисал с балконов густыми гирляндами. Он шёл быстро, не оглядываясь, и единственным звуком, сопровождавшим его, был стук собственных ботинок по мокрой брусчатке — кто-то из дворников уже успел помыть тротуар, и вода собиралась в щелях между камнями мелкими зеркальными лужами.

Карман его пальто оттягивал свёрток, перевязанный шпагатом. В свёртке лежали пачки песет — не пять, не десять, а столько, сколько он смог унести, и это была лишь ничтожная доля того, чем он теперь обладал. Пальцы его правой руки то и дело касались бумаги через ткань — машинальный жест, выработанный за годы студенческой нищеты, когда он считал монеты в кармане, чтобы понять, хватит ли на обед. Теперь считать не нужно было. Теперь хватало на всё.

Он миновал площадь Рейаль, где фонтан Гудеа шумел водой, и несколько поздних прохожих сидели на скамейках, куря сигареты и разговаривая вполголоса. Кто-то играл на гитаре — не фламенко, а скорее хабанеру, медленную и томную. Музыка тянулась за ним, как шёлковый шарф, и растворилась только тогда, когда он свернул в переулок, где на стене дома номер четырнадцать висела кованая вывеска с изображением женской ножки в туфельке с пряжкой.

«Каса-де-ла-Сеньора Роса» — так называли это место завсегдатаи. Мадам Роса, или просто Сеньора, содержала заведение уже двадцать лет, её дом процветал, как и прежде. Фаусто знал об этом месте со времён своей медицинской практики в больнице Сант-Пау, когда один из хирургов — доктор Орельяна, грузный мужчина с усами как щётка — рассказывал за обедом о «девочках Сеньоры», которые носили костюмы из другой эпохи и умели обращаться с мужчиной так, как не снилось ни одной жене в приличном обществе.

Дверь открыл привратник — огромный валенсиец с бритой головой и шрамом через всю щеку. Он посмотрел на Фаусто оценивающе, задержал взгляд на его ботинках — хорошая кожа, но не новых — и на пальто, которое было сшито хорошо, но не в этом сезоне. Потом Фаусто

достал из кармана пачку песет и протянул ему две купюры. Глаза валенсийца расширились — это было больше, чем он зарабатывал за неделю.

— Добро пожаловать, сеньор. Прошу.

Прихожая была обита бордовым шёлком, и на стенах висели картины — не дешёвые литографии, а настоящие холсты: пейзажи Монтжуика, виды порта с парусниками, и один портрет обнажённой женщины в стиле Гойи — она лежала на ложе, прикрывая грудь рукой, и смотрела на зрителя с выражением, которое было одновременно вызовом и приглашением. Фаусто остановился перед ним на секунду, и его дыхание участилось — он поймал себя на том, что рассматривает изгиб её бедра, линию ключицы, тень под мышкой.

Мадам Роса появилась из-за портьеры. Это была женщина лет пятидесяти, с волосами цвета серебра с черниной, уложенными в высокую причёску по моде времён королевы Виктории-Евгении. Платье на ней было чёрное, с кружевным воротником и брошью из граната на груди. Она носила перчатки до локтей — атласные, цвета слоновой кости — и держала в руке веер из чёрного дерева и кружева.

— Добрый вечер, сеньор. Вы к нам впервые?

— Впервые, — сказал Фаусто. Его голос прозвучал ровно, но пальцы левой руки, те, что не держали свёрток, слегка подрагивали. — Мне рекомендовали это место.

— Кто же, позвольте спросить?

— Доктор Орельяна.

Мадам Роса улыбнулась — одними губами, без участия глаз, которые оставались профессионально-оценивающими.

— Доктор Орельяна — наш давний друг. Его вкусы нам хорошо известны. — Она раскрыла веер и обмахнулась — жест скорее ритуальный, чем вызванный жарой. — Каковы же ваши вкусы, сеньор...?

— Фаусто. Просто Фаусто.

— Сеньор Фаусто. У нас сегодня шестеро девушек. Некоторые одеты по моде двора Карла IV — шелка, мантильи, веера. Другие предпочитают более... современный фасон — платья из шантильи, чулки с подвязками, как носят в Париже. Что вам ближе?

Фаусто сглотнул. Он стоял в борделе, разговаривая с мадам, как будто выбирал вино в погребе, и вся ситуация казалась ему одновременно реальной и невозможной. Ещё месяц назад он ужинал хлебом с сардинами и считал песеты на трамвай. Сейчас он стоял в доме, где каждая деталь — от бордового шёлка на стенах до мраморного пола под ногами — стоила больше, чем он зарабатывал за месяц.

— Мне ближе старина, — сказал он. — Испания. То, что было до всего этого.

Мадам Роса кивнула.

— Понимаю. Карл IV, Гойя, майорки и мантильи. — Она повернулась к портьеру. — Пройдите в салон, сеньор Фаусто. Я пришлю девушек. Вы сможете выбрать тех, кто вам понравится.

Салон был просторной комнатой с потолком, расписанным фресками — амурчики и пасторали, облака и розы — и люстрой из богемского стекла, которая бросала на стены радужные блики. Мебель была красного дерева: диваны с гобеленовой обивкой, кресла с высокими спинками, столики с мраморными столешницами, на которых стояли хрустальные графинцы с хересом и манзанильей. На стенах висели зеркала в позолоченных рамах — и Фаусто поймал своё отражение в одном из них: высокий, худощавый мужчина лет тридцати, с тёмными волосами, зачёсанными назад, и лицом, которое мать называла *«интеллигентным»*, а женщины в больнице — *«приятным, когда улыбается»*. Он не улыбался сейчас. Он смотрел на себя так, будто видел впервые.

Он налил себе хереса из графина и выпил одним глотком. Вино было сухое, с ореховым привкусом, и слегка обожгло горло. Он налил ещё.

Портьера колыхнулась, и в салон вошли четверо.

Первой шла Кармина. Она была одета в костюм махи — короткая куртка из зелёного шёлка с серебряным шитьём, белая рубашка с кружевным воротником, расстёгнутая на две пуговицы так, что виднелась ложбинка груди, и юбка до щиколоток из того же зелёного шёлка, но с чёрной каймой. На голове — маленькая мантилья из чёрного кружева, прикреплённая к волосам гребнем из черепашьего панциря. Волосы — тёмные, почти чёрные — были собраны в низкий узел на затылке, и несколько прядей выбились, обрамляя лицо с высокими скулами и полными губами цвета спелой сливы.

За ней шла Исабель — в платье придворной дамы времён Годоя: платье из золотистого атласа с корсетом, который сужал талию до толщины двух мужских ладоней, и юбкой, раскинутой на кринолине. Вырез был квадратным, и грудь — высокая, пышная — приподнималась корсетом так, что казалась предложенной на обозрение. На шее — жемчужное ожерелье, в ушах — жемчужные капли. Волосы — цвета меди — были уложены высоко, с локонами, спадающими на виски.

Третьей была Долорес — в чёрном. Чёрное платье из бархата, с длинными рукавами и вырезом на спине, который доходил до поясницы. Чулки — чёрные, с кружевной резинкой на бёдрах, которые были видны, потому что платье имело разрез до середины бедра. На ногах — туфли с пряжками и умеренно высоким каблуком. Волосы — рыжие, что было редкостью в Каталонии — распущены по плечам.

Четвёртой шла Тереза — самая молодая, лет двадцати, в костюме посевильской танцовщицы: платье в белый и красный горошек, с оборками на подоле и на рукавах, и шалью с длинными кистями, обмотанной вокруг бёдер. Она была маленькой, тонкой, с грудью, которая едва наполняла лиф платья, и ногами — длинными для её роста — которые были видны до колен, потому что оборки не скрывали, а скорее подчёркивали.

Они остановились полукругом перед Фаусто, и Кармина сделала шаг вперёд.

— Добрый вечер, сеньор. Меня зовут Кармина. Это Исабель, Долорес и Тереза.

Фаусто посмотрел на них — на четверых женщин, которые стояли перед ним в костюмах из другого века, с лицами, которые были одновременно красивыми и профессионально-нейтральными — и его сердце забилося так, что он услышал его стук в собственных ушах. Он поставил бокал на стол. Рука дрогнула, и капля хереса упала на мрамор.

— Кармина, — сказал он. — И Долорес.

Кармина улыбнулась — одними губами, и в уголках её глаз собрались мелкие морщинки, которые делали её красивее. Долорес не улыбнулась — она лишь слегка наклонила голову, и рыжие волосы скользнули по плечу, как пламя по бархату.

— Только мы вдвоём? — спросила Кармина. — Или, может быть, вы хотите, чтобы и Исабель с Терезой присоединились? Мы умеем развлекать и поодиночке, и...

— Двоих, — сказал Фаусто. — Для начала.

Исабель и Тереза поклонились — изящно, с привычной лёгкостью — и вышли. Кармина подошла к Фаусто и протянула руку. Он взял её — ладонь была маленькой, тёплой, с мозолями на подушечках пальцев от гитары, и он удивился этому — мозолям, которые говорили о том, что у этой женщины была жизнь за стенами этого дома.

— Пойдём, — сказала она. — У нас есть комната наверху. С балконом на улицу.

Комната была на втором этаже, с окном, выходящим на переулок, и балконом с кованой решёткой, на котором стояли горшки с геранью. Стены были оклеены обоями с цветочным узором — бледно-розовые розы на кремовом фоне — и освещались двумя канделябрами на стенах и лампой на ночном столике с абажуром из розового шёлка. Кровать была широкая, с балдахином из тёмно-красного бархата, и покрывало было откинута, обнажая белые простыни, которые пахли лавандой.

Долорес закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, скрестив руки под грудью. Бархат её платья натянулся на бёдрах, и разрез открыл бедро до самого паха — Фаусто увидел край чулка и кружевную подвязку.

Кармина подвела его к креслу у окна и мягко нажала на плечи, усаживая. Потом она встала перед ним и начала снимать мантилью — медленно, вытягивая гребень из волос, и чёрное кружево скользнуло по её плечам и упало на пол. Волосы рассыпались — тёмные, густые, до лопаток — и она встряхнула головой, и пряди легли на плечи и на грудь.

— Сеньор Фаусто, — сказала она, — вы нервничаете.

— Да, — сказал он. Он не видел смысла лгать. — Да, я нервничаю.

— Это хорошо, — сказала Долорес от двери. Её голос был низким, с хрипотцой, и Фаусто повернул голову к ней. Она улыбнулась — впервые — и в её улыбке было что-то хищное. — Нервничающие мужчины бывают нежнее.

Кармина расстегнула куртку — пуговицы одна за другой, медленно, и белая рубашка под ней проступила, и стала видна тень между грудей. Она сняла куртку и положила на спинку кресла. Потом начала расстёгивать рубашку — снизу вверх, и Фаусто увидел живот — плоский, с тонкой линией волосков, спускавшейся от пупка под юбку, — и рёбра, и нижний край груди. Она остановилась на последней пуговице и посмотрела на него сверху вниз.

— Вы хотите видеть?

— Да, — выдохнул он.

Она расстегнула последнюю пуговицу. Рубашка распахнулась, и грудь — тяжёлая, с тёмными сосками, которые стояли твёрдо — предстала перед ним. Фаусто протянул руку, но Кармина отступила на шаг.

— Не торопитесь, сеньор. У нас вся ночь.

Долорес подошла сзади и положила руки ему на плечи. Её пальцы — длинные, с коротко остриженными ногтями — начали массировать его плечи через ткань пальто, и он почувствовал, как напряжение в мышцах начинает растворяться под её прикосновениями. Она наклонилась к его уху, и он ощутил запах — духи с нотой пачули и чего-то цветочного, может, флердоранжа.

— Позвольте мне снять с вас пальто, — прошептала она.

Он кивнул, и она сняла пальто — стянула с плеч и положила на кровать. Потом начала расстёгивать его рубашку — пуговицу за пуговицей, и каждый раз, когда её пальцы касались его кожи, он вздрагивал, как от электрического разряда. Она приспустила рубашку с плеч и провела ногтями по его ключицам — легко, царапая, и по его телу прошла волна мурашек.

Кармина тем временем расстегнула юбку, и та упала на пол — под ней была нижняя юбка из белого хлопка с кружевом, и сквозь неё Фаусто увидел тень между её ног. Она сняла и нижнюю юбку, и осталась в чулках — белых, с кружевной резинкой на бёдрах — и больше ничего на ней не было.

— Вы красивая, — сказал он, и голос его сломался на последнем слове.

— Спасибо, сеньор, — сказала Кармина и шагнула к нему. Она взяла его руку — правую, ту, что дрожала — и положила себе на живот. Его ладонь ощутила тепло, и мягкость, и лёгкую пульсацию под кожей — она была живая, настоящая, и это было единственное, что имело значение.

Долорес тем временем стянула своё платье — через голову, одним движением — и под ним не было ничего, кроме чулок. Тело её было худее, чем у Кармины, с маленькой грудью и острыми сосками — светлыми, почти розовыми, — и бёдрами, что были узкими.

Долорес кончила первой — её тело выгнулось дугой, и ноги сжались на его поясице.

Он рухнул на неё — тяжело, без сил — и она обхватила его руками и ногами и держала, пока его дыхание замедлялось. Кармина легла рядом и положила голову ему на плечо. Они

лежали так — несколько минут — и единственным звуком было их дыхание и шум фонтана на площади, доносившийся через открытое окно.

Потом Кармина поцеловала его в плечо и встала.

— Ты не думал, что закончил? — сказала она. — У нас ещё полно ночи.

Она легла на кровать рядом с Долорес — на спину, и развела ноги, и он увидел её — мокрую, открытую, с губами, что разошлись и обнажили розовую, блестящую плоть, и клитор, который стоял, как маленький член.

— Твой рот, — сказала она. — Потом — твой член. Ты можешь снова?

Фаусто посмотрел на неё — на её тело, на её лицо, на её грудь, которая поднималась и опускалась с каждым вздохом — и почувствовал, как кровь снова приливает к паху. Его член — мягкий, мокрый от спермы и от её слюны — начал подниматься.

— Могу, — сказал он.

— Тогда иди сюда, — сказала Кармина и развела ноги шире.

Кармина легла с другой стороны — и он лежал между двумя женщинами, и обе дышали тяжело, и их тела — тёплые, мягкие — прижимались к нему.

— Сеньор Фаусто, — сказала Кармина, — вы не похожи на обычного клиента.

— Почему?

— Потому что обычные клиенты не смотрят так. Как будто видите нас впервые.

Он помолчал. Потом сказал:

— Может быть, так и есть. Вижу впервые.

Долорес повернулась на бок и подперла голову рукой.

— Вы не из богатых, — сказала она. — Это видно. Ваши руки — рабочие. И ботинки — не новые. Но денег у вас много.

— Да, — сказал он. — Много.

— Откуда?

— Сделка, — сказал он. — Я заключил сделку.

Они не спрашивали больше. В их профессии было не принято спрашивать, откуда у мужчины деньги — достаточно было, чтобы они были. Кармина встала и принесла графин с водой и стакан. Она налила и подала ему, и он выпил — жадно, большими глотками.

— Сколько мы можем? — спросил он.

— Что — сколько?

— Сколько вы можете? Насколько долго? Насколько много?

Кармина переглянулась с Долорес. Долорес пожала плечом.

— Пока у вас стоит и пока есть деньги, — сказала она.

— Деньги есть, — сказал Фаусто и потянулся к брюкам, лежавшим на полу. Он достал пачку песет и бросил на кровать. Купюры рассыпались по простыням — белые, мятые, с портретом короля.

Кармина взяла одну, посмотрела, перевернула. Потом посмотрела на Фаусто.

— Это... это много. Слишком много.

— Это мало, — сказал он. — Это — ничто.

Долорес села на кровати и собрала купюры — аккуратно, складывая в стопку. Её руки двигались привычно и деловито.

— Мы можем позвать Исабель и Терезу, — сказала Кармина. — Если вы хотите.

Фаусто посмотрел на неё — на её тело, на её грудь, на её бедра, между которыми блестела влага — и кивнул.

— Позовите.

Кармина вышла из комнаты — голая, в одних чулках, и её зад покачивался при ходьбе. Долорес легла рядом с Фаусто и положила голову ему на грудь.

— Вы странный, — сказала она. — Но хороший странный.

Фаусто лежал и смотрел в потолок — на фреску с амурами и облаками — и слушал, как где-то в доме играет гитара, и как Долорес дышит рядом, и как его сердце бьётся — ровно, спокойно — в груди, которая ещё час назад была пустой и холодной.

Он заключил сделку. Дьявол взял его душу — или возьмёт, когда придёт время — и дал ему взамен то, чего у него никогда не было. Деньги. Бесконечные деньги. И сейчас, лежа в борделе на Барселонетте, между двумя женщинами, с запахом секса и лаванды в воздухе, и с шагами Кармины, которая шла за ещё двумя — он впервые подумал, что, может быть, сделка была не такой уж плохой.

Потом дверь открылась, и Кармина вошла — с Исабель и Терезой за спиной. Исабель уже расстегнула корсет, и её грудь — большая, тяжёлая — свободно лежала на груди. Тереза улыбалась, и в её руке был веер, который она раскрывала и закрывала — щёлк, щёлк — и этот звук был как обещание.

— Сеньор Фаусто, — сказала Кармина, — ваши гости.

Фаусто сел на кровати.

— Закройте дверь, — сказал он.

Дверь закрылась. И ночь — длинная, тёплая, барселонская ночь — только начиналась.

Утро застало Фаусто уже на улице.

Он вышел из дома Сеньоры Розы немного помятый, с сигаретой в зубах, и несколько секунд постоял у стены, щурясь от неожиданно яркого солнца. Площадь Рейаль постепенно просыпалась: официанты выносили на террасы первые столики, дворники сметали с мостовой вчерашний мусор, где-то звякнула посуда, а над крышами домов уже поднималось ясное средиземноморское небо.

Фаусто чувствовал себя совершенно разбитым.

Всё было именно так, как он представлял себе ещё вчера.

Ему не отказали, ему не пришлось никого добиваться, не пришлось обещать любовь, не пришлось думать о последствиях. Деньги сделали всё простым, а ночь оказалась гораздо щедрее, чем он рассчитывал.

И всё же теперь, стоя посреди просыпающейся Барселоны, он испытывал не восторг, а какую-то странную пустоту, которую не мог объяснить даже самому себе.

Фаусто пошёл к Рамбле.

— Не понравилось?

Он остановился.

На противоположной стороне улицы стоял хромой строитель, тот самый, с которым он познакомился в гостинице.

— Понравилось.

— Но?

Фаусто затянулся сигаретой.

— Не знаю.

Мефисто подошёл ближе.

— Узнаете.

Фаусто посмотрел на него с раздражением.

— Я получил всё, чего хотел.

— Пока — да.

Мефисто улыбнулся и пошёл дальше.

Фаусто некоторое время смотрел ему вслед, затем выбросил сигарету и последовал за ним.



Глава 5. Рита

К тому времени Фаусто уже успел привыкнуть к своей новой жизни настолько, что деньги перестали казаться ему чудом и превратились в нечто вроде особенно удобного свойства окружающего мира: как хорошая погода, тёплое море или собственное здоровье, о котором человек вспоминает только тогда, когда оно начинает ему изменять. Он больше не считал купюры перед каждым ужином, не заглядывал в меню в поисках самых дешёвых блюд и мог, если ему хотелось, провести весь день в праздности, не испытывая ни тревоги, ни угрызений совести.

Однажды утром он зашёл в книжную лавку на Рамбле, где прежде покупал только медицинские руководства и учебники, а теперь без всякой определённой цели рассматривал витрины, перелистывал дорогие издания и думал, что, пожалуй, настало время читать книги не потому, что этого требует экзамен или профессия.

У дальней полки стояла девушка и пыталась достать книгу с верхнего ряда.

Фаусто заметил её не сразу: сначала увидел только тёмное платье, тонкую руку и выбившуюся из причёски прядь каштановых волос, а затем девушка обернулась, заметила его взгляд и, не смутившись, сказала:

— Если вы собираетесь помочь, помогайте.

Фаусто улыбнулся, снял книгу с полки и протянул ей.

Она взяла книгу и посмотрела на обложку.

— Спасибо.

Фаусто собирался отойти, но название его заинтересовало.

— Вы читаете Бакунина? Не похоже на книгу для случайной покупки.

— А я и не случайно её покупаю.

Она сказала это совершенно спокойно, словно подобные разговоры происходили с ней каждый день. Фаусто посмотрел на неё внимательнее: лицо у неё было открытое, живое, не слишком правильное, но именно поэтому запоминающееся, а в серых глазах появлялось что-то насмешливое всякий раз, когда собеседник говорил очевидную глупость.

— Вы интересуетесь политикой?

— Нет, — ответила она. — Политика интересуется мной.

Фаусто рассмеялся.

— Это уже почти философия.

— Нет. Это Барселона.

Она расплатилась, положила книгу в небольшую сумочку и направилась к выходу.

— Меня зовут Фаусто.

Девушка остановилась.

— Маргарита.

— Рита?

— Для друзей.

— Тогда надеюсь, мы скоро станем друзьями.

Она посмотрела на него с лёгкой улыбкой.

— Вы слишком быстро принимаете решения, Фаусто.

И вышла на улицу.

Фаусто остался у книжной полки, некоторое время глядя ей вслед через стеклянную дверь, а затем вдруг обнаружил, что впервые за последние месяцы совершенно забыл о том, зачем вообще пришёл в магазин.

Они встретились снова через несколько дней — на этот раз в небольшом кафе неподалёку от университета. Рита пришла с книгой под мышкой и, увидев Фаусто за столиком,

не удивилась, будто заранее предполагала, что он будет её ждать. Она была одета просто, но со вкусом: в светлую блузку с узким воротником, тёмную юбку до середины икры и лёгкую жакетку, застёгнутую на одну пуговицу; каштановые волосы, густые и слегка волнистые, были собраны на затылке, однако несколько прядей свободно лежали у висков. У неё было овальное лицо с тёплой оливковой кожей, выразительные серо-карие глаза, прямой нос, полные, чётко очерченные губы и небольшая родинка возле левой щеки; фигура — стройная, но не хрупкая, с узкой талией, округлыми бёдрами и мягкой, естественной женственностью, которую не подчёркивала одежда, но и не могла скрыть. В ней не было ни театральной испанской яркости, ни нарочитой скромности: она выглядела молодой городской женщиной, привыкшей к книгам, разговорам и вниманию, которое не считала обязанной возвращать.

— Вы опять читаете Бакунина? — спросил Фаусто, когда она села.

— Нет. На этот раз Лорка.

— Это большая перемена.

— Не такая большая, как вам кажется.

Она положила книгу на стол. Фаусто увидел тонкий том стихов и перелистал его.

— Вы любите поэзию?

— Иногда. Когда она не притворяется философией.

— А что вы читаете постоянно?

Рита немного подумала.

— Университетские книги, конечно. Потом Унамуно, Ортегу-и-Гассета, иногда Рамона Гомеса де ла Серну. Из французов — Аполлинера, Кокто, немного Пруста. Из русских — Чехова и Достоевского, хотя Достоевского я не люблю перечитывать. Он слишком хорошо знает, как человек может испортить себе жизнь.

— А испанские романы?

— Галдоса. И Валье-Инклана. Но это разные удовольствия.

— Вы говорите так, будто книги бывают только двух видов.

— Нет, — сказала Рита. — Бывают книги, после которых хочется жить, и книги, после которых хочется спорить. Иногда это одно и то же.

Фаусто посмотрел на неё с интересом. В её словах не было ни университетской важности, ни желания произвести впечатление. Она говорила о литературе так, как другие люди говорили о погоде или знакомых, — свободно, без почтительности, не отделяя искусство от повседневной жизни.

За соседним столиком двое молодых людей обсуждали выставку, устроенную в одной из галерей Эшампле. Один из них говорил о Пикассо, другой — о том, что современная живопись окончательно потеряла способность изображать человека. Рита слушала их вполуха, а затем заметила:

— Выставки теперь открываются каждую неделю, и все уверены, что присутствуют при рождении нового искусства.

— Разве это плохо?

— Нет. Плохо только то, что каждый художник хочет быть новым, а каждый зритель хочет немедленно понять, что именно он увидел.

Фаусто улыбнулся.

— А вы понимаете?

— Иногда. Но стараюсь не торопиться.

Он заказал для неё кофе и пирожное. Рита поблагодарила, но, когда Фаусто предложил после кафе зайти в магазин и выбрать ей что-нибудь из одежды, сразу покачала головой.

— Не нужно.

— Почему?

— Потому что я не просила.

— Это всего лишь подарок.

— Тогда подарите его кому-нибудь, кто просил.

Фаусто впервые за долгое время не нашёлся с ответом. Он привык считать деньги универсальным языком, понятным каждому человеку, но Рита словно отказывалась признавать его существование.

К тому времени уже прошло несколько месяцев с тех пор, как Фаусто получил деньги, и за это время он успел привыкнуть к тому, что почти всякая женщина, на которую он обращал внимание, становилась доступной, если не сразу, то после ужина, подарка или нескольких удачно произнесённых фраз. Сначала это казалось ему приятным доказательством собственной свободы, потом — удобной привычкой, а под конец стало утомлять: слишком многое происходило без усилия, без ожидания, без риска отказа. Он уже не столько искал женщин, сколько выбирал среди предложенных ему удовольствий, и потому Рита, не пожелавшая принять даже небольшой подарок, заинтересовала его сильнее, чем многие из тех, кто охотно принимал гораздо более дорогие.

Они вышли из кафе и пошли по улице. Рита рассказывала о знакомых художниках, о маленьких литературных вечерах, о музыке, которую слушала дома. Ей нравились Дебюсси и Равель, но она могла с таким же удовольствием слушать старую каталонскую песню, если в ней была настоящая мелодия. Она не презирала популярные танцы, однако считала, что большинство модных песен исчезает из памяти ещё до того, как заканчивается сезон.

— Вы принадлежите к какому-нибудь кругу? — спросил Фаусто.

— К слишком большому количеству кругов, чтобы принадлежать одному.

— Литературному?

— Иногда. Музыкальному — ещё реже. Университетскому — только пока там не начинают говорить слишком серьёзно.

— А политическому?

Рита посмотрела на него.

— Нет.

— Ваш брат, кажется, интересуется политикой.

— Жоан интересуется всем, что может изменить жизнь. Иногда это утомительно.

— Он республиканец?

— Он считает, что республика — только начало.

— А вы?

— Я считаю, что сначала нужно научиться жить с теми, кто рядом.

Она произнесла это без назидания и тут же перевела разговор на новую выставку, которую собиралась посетить в воскресенье. Фаусто почувствовал, что разговор с ней постоянно ускользает от привычных рамок: она не спорила ради победы, не старалась казаться загадочной, не соглашалась из вежливости. И чем меньше она старалась ему понравиться, тем сильнее ему хотелось продолжать встречаться с ней.

У самого магазина Фаусто снова остановился.

— Тогда хотя бы позвольте пригласить вас на ужин.

Рита посмотрела на него внимательно, словно проверяла не цену предложения, а его намерение.

— На ужин — можно.

— В дорогой ресторан?

— В хороший.

— Это не одно и то же?

— Надеюсь, нет.

Она улыбнулась, и Фаусто вдруг понял, что впервые за много месяцев собирается потратить деньги не ради удовольствия, которое уже заранее считал своим, а ради встречи, исход которой ему неизвестен.

К вечеру Фаусто успел несколько раз изменить решение относительно ресторана. Сначала ему хотелось отвезти Риту в одно из самых дорогих заведений города, затем он подумал, что это будет слишком похоже на демонстрацию богатства, и наконец выбрал ресторан на Рамбле, о котором слышал от знакомых врачей: там хорошо готовили рыбу, подавали настоящее каталонское вино и не заставляли посетителей чувствовать себя обязанными восхищаться каждой деталью обстановки.

Он приехал немного раньше и ждал у входа, когда Рита появилась на другой стороне улицы. На ней было то же простое тёмное платье, что и днём, но теперь поверх него лежало лёгкое пальто, а волосы были собраны выше, открывая шею. Она не торопилась, останавливалась у витрин, смотрела на афиши театров и только потом перешла улицу.

— Вы не опоздали, — сказала она.

— Я решил проявить предусмотрительность.

— Опасное начало для вечера.

Они вошли в ресторан. За окнами уже сгущались сумерки, но Рамбла ещё жила своим обычным вечерним движением: продавцы закрывали киоски, официанты выносили на тротуар стулья, из открытых дверей доносились голоса и музыка. Внутри пахло рыбой, свежим хлебом, вином и горячим маслом; за дальними столиками разговаривали торговцы, чиновники, несколько иностранцев и молодая пара, которая, судя по их лицам, уже давно перестала замечать окружающих.

Фаусто заказал вино и предложил Рите выбрать блюда.

— Вы ведь собирались удивить меня, — сказала она. — Не перекладывайте ответственность.

— Тогда начнём с чего-нибудь местного.

— Только не говорите, что вы впервые пробуете каталонскую кухню.

— Я врач, а не путешественник.

— Это не оправдание.

Она заказала хлеб с помидорами и оливковым маслом, *escalivada*, затем выбрала *suquet de peix* — густое рыбное блюдо с картофелем, чесноком и шафраном. Фаусто добавил *fideuà*, и Рита одобрительно кивнула, словно он наконец сделал что-то правильно.

Пока они ждали, она смотрела в окно.

— Вы давно живёте в Барселоне? — спросил Фаусто.

— Всю жизнь.

— И вам не хочется уехать?

— Иногда. Но потом я думаю, что в другом городе тоже будут улицы, по которым я ничего не знаю, люди, которых я никогда не встречала, и дома, которые придётся полюбить заново.

— Вы говорите так, будто город — живое существо.

— А разве нет?

Фаусто посмотрел на Рамблу. Ещё недавно он видел в ней только шумную артерию, по которой двигались туристы, торговцы, нищие, проститутки, служащие и люди, слишком занятые собственными делами, чтобы замечать друг друга. Теперь Рита показывала ему другое: нечто, что существовало не только ради его впечатлений.

Она рассказала, что в детстве боялась заходить в старый Готический квартал, потому что ей казалось, будто узкие улицы там запоминают лица и не выпускают тех, кто пришёл без цели. Потом она стала любить эти улицы именно за их тесноту и неровность, за то, что они не позволяли идти прямо и заставляли сворачивать туда, куда человек не собирался.

— Поэтому вы любите Барселону? — спросил Фаусто.

— Нет. Поэтому я ей доверяю.

Принесли вино. Фаусто налил ей, затем себе. За соседним столиком двое мужчин спорили о театре, один из них утверждал, что всё современное искусство — лишь способ скрыть отсутствие таланта. Рита слушала их с улыбкой.

— Вы согласны? — спросил Фаусто.

— Нет.

— Почему?

— Потому что отсутствие таланта прекрасно скрывается и без современного искусства.

Она сказала это совершенно серьёзно, и Фаусто рассмеялся. Ему нравилось, что Рита не пыталась быть остроумной: её шутки возникали сами собой, как будто она просто не считала нужным оставлять глупость без ответа.

После ужина они не стали сразу вызывать автомобиль. Рита предложила пройтись до площади Каталонии, и Фаусто согласился, хотя прежде счёл бы прогулку после дорогого ресторана пустой тратой времени.

На улице было тепло. Над Рамблой висел запах моря, цветов и табака; в свете фонарей блестели мокрые камни, хотя дождя Фаусто не заметил. Где-то неподалёку играла гитара, из кафе доносилась медленная музыка, а на площади несколько молодых людей спорили о политике так ожесточённо, будто от их разговора зависела судьба страны.

Рита не остановилась, но, проходя мимо, сказала:

— Они уже третий год спасают Испанию.

— И успешно?

— Пока нет.

На площади она показала ему здание, которое Фаусто прежде видел сотни раз, но никогда не рассматривал внимательно.

— Здесь когда-то стояли городские ворота, — сказала она. — А теперь люди проходят через это место, даже не зная, что оно когда-то что-то закрывало.

— Вы всё превращаете в историю.

— Нет. Это история всё превращает в настоящее.

Они пошли дальше, к Пасео-де-Грасия. Витрины уже погасли, но в некоторых окнах ещё горел свет. На фасадах домов смешивались строгие линии новых зданий и прихотливые формы модерна: камень, железо, стекло, балконы, похожие на растения. Фаусто вспомнил, как несколько месяцев назад проходил здесь один, раздражённый и почти без денег, и как теперь тот же самый город казался ему совершенно иным.

— Вы любите эту архитектуру? — спросил он.

— Не всю. Иногда она слишком старается понравиться.

— А разве это недостаток?

— Для дома — нет. Для человека — иногда.

Фаусто посмотрел на неё. Рита шла рядом, не держась за него и не стараясь приблизиться, но он впервые заметил, что подстраивает шаг под её шаг. Ему хотелось, чтобы дорога продолжалась, хотя они уже давно могли бы доехать до её дома.

У перекрёстка он остановил автомобиль, но Рита покачала головой.

— Я дойду пешком.

— Уже поздно.

— Барселона ещё не спит.

— А если я всё-таки провожу вас?

— Тогда проводите.

Они пошли дальше. Фаусто почти не говорил. Его удивляло не то, что Рита была умна, красива или независима, — всё это он уже знал, — а то, что рядом с ней ему не хотелось ни демонстрировать своё богатство, ни доказывать собственное превосходство. Впервые за

долгое время он обнаружил, что может просто идти рядом с другим человеком и не считать это потерей времени.

К следующему вечеру Рита сама предложила встретиться ещё раз, но на этот раз не в кафе и не в ресторане, а у неё дома: нужно было забрать несколько книг, которые она обещала показать Фаусто, и заодно познакомить его с братом, вернувшимся из университета раньше обычного.

— Он иногда бывает дома, — сказала она. — И любит составлять мнение о людях прежде, чем узнает их.

— Значит, мы с ним найдём общий язык, — ответил Фаусто.

— Не обольщайтесь. Он редко меняет мнение.

Дом, в котором жила Рита, стоял на одной из тихих улиц недалеко от Готического квартала. Внизу помещалась небольшая мастерская, окна верхнего этажа были открыты, и оттуда доносился запах жареного лука, тёплого хлеба и чего-то пряного. Рита встретила Фаусто у двери, провела его по узкой лестнице и, не снимая пальто, крикнула:

— Жоан, я пришла.

Из комнаты ответили не сразу. Потом появился молодой человек лет тридцати, в простой рубашке с закатанными рукавами. Он был немного выше Фаусто, худощав, с коротко стриженными тёмными волосами и внимательным лицом, на котором спокойствие не исключало некоторой жёсткости. В одной руке он держал раскрытую книгу, другую сунул в карман брюк.

— Это Фаусто, — сказала Рита. — Фаусто, мой брат Жоан.

— Рад познакомиться, — произнёс Фаусто.

Жоан кивнул, но руки не протянул.

— Врач?

— Да.

— Частная практика?

— Пока нет. Я недавно окончил обучение.

— А теперь, кажется, уже можете себе позволить не спешить.

Рита бросила на брата короткий взгляд.

— Жоан.

— Я просто спрашиваю.

Фаусто улыбнулся, решив не принимать замечание на свой счёт.

— Деньги иногда помогают человеку выбрать более подходящее занятие.

— Иногда, — согласился Жоан. — А иногда просто позволяют дольше не замечать, что происходит вокруг.

В комнате повисла короткая пауза. Рита сняла пальто, положила его на спинку стула и достала из сумки несколько книг.

— Я обещала показать Фаусто Пруста и Валье-Инклана. Если вы закончили спасать Испанию, мы займёмся литературой.

— Испанию ещё никто не спас, — сказал Жоан. — Но некоторые уже устали пытаться.

— Ты опять собираешься на собрание?

— Если его не разгонят раньше.

Он сказал это так буднично, словно речь шла о поездке за город или о покупке хлеба. Фаусто отметил про себя, что Жоан относится к политике с чрезмерной серьёзностью, свойственной людям, которым необходимо во что-то верить, чтобы не чувствовать бессмысленности собственной жизни. Ему казалось, что подобные увлечения могут быть даже полезны в молодости, пока человек не научится отличать действительность от красивых слов.

Жоан посмотрел на Фаусто ещё раз, теперь чуть внимательнее, будто пытался обнаружить в нём нечто, чего не было видно при первом знакомстве. Затем пожал плечами.

— Ужин скоро будет готов. Если вы не против простой еды.

— Я не против.

— Это хорошо. Богатые люди обычно против.

Рита вздохнула, но Фаусто только рассмеялся.

— Я, вероятно, исключение.

— Это ещё предстоит выяснить, — спокойно сказал Жоан.

Он вернулся на кухню, оставив дверь открытой. Рита проводила его взглядом, затем повернулась к Фаусто.

— Не обращайтесь внимания. Он подозревает во всем плохом всех, у кого есть деньги.

— Разумная предосторожность.

— Вы не обиделись?

— Нет. Он относится ко мне как к человеку, которого ещё предстоит проверить. Это даже лестно.

— Вы слишком легко всё принимаете.

— Возможно, потому, что меня пока ничего не касается.

Рита посмотрела на него, и улыбка её стала едва заметной.

— Пока.

Она произнесла это без нажима, не превращая слово в предупреждение, но Фаусто всё же почувствовал в нём нечто лишнее, будто за простым разговором о брате, ужине и книгах на мгновение открылась другая жизнь, существовавшая рядом с его собственной и не нуждавшаяся в его согласии. Впрочем, Жоан уже снова заговорил из кухни, Рита стала отвечать ему, а на столе лежали книги, которые она обещала показать, и всё вернулось к привычной ясности.

Фаусто сел у окна. С улицы доносился звон трамвая, чьи-то шаги по каменной мостовой, смех прохожих. Вечерняя Барселона казалась спокойной, почти праздничной, и он подумал, что политические собрания, тайные разговоры и мечты о республике существуют где-то в стороне, в другой, более беспокойной стране, которая пока не имела к нему никакого отношения.

После ужина у Риты Фаусто несколько дней не видел её, хотя прежде, встретив женщину, которая ему нравилась, он привык действовать быстро и настойчиво, не оставляя отношениям времени на самостоятельное развитие. Теперь же ему почему-то не хотелось превращать знакомство с Ритой в обычную процедуру, где одно приглашение следовало за другим, пока любопытство не сменялось привычкой, а привычка — скукой.

Он несколько раз проходил по улице, на которой стоял её дом, но всякий раз находил этому вполне разумное объяснение: ему нужно было купить сигареты, заглянуть в книжную лавку, проверить часы у мастера на соседнем переулке. Самому себе он не признавался, что надеется увидеть её у окна или случайно встретить у дверей.

На четвёртый день, когда он уже собирался отправиться на прогулку к морю, ему передали короткую записку. Её принёс мальчик из соседней мастерской, которому Рита, вероятно, дала несколько монет за услугу.

В записке было всего несколько строк:

Если вы сегодня свободны, приходите к пяти. Я нашла ту книгу, о которой мы говорили.
Рита.

Фаусто перечитал записку дважды. Он не знал, что именно его обрадовало: приглашение, упоминание книги или то, что Рита написала первой, не дожидаясь от него очередного жеста, который можно было бы истолковать как попытку купить её расположение.

Он пришёл немного раньше пяти и остановился у дома, не сразу решившись постучать. В этом не было ничего необычного, но ему вдруг показалось, что он впервые за долгое время оказался перед дверью, которую нельзя открыть одним только желанием.

Рита сама открыла ему.

— Вы пришли.

— Вы пригласили.

- Я не была уверена, что вы свободны.
- Теперь я почти всегда свободен.
- Это, должно быть, удобно.
- Иногда слишком.

Она отступила, пропуская его в прихожую. На этот раз Жоана дома не было. В комнате стоял раскрытый футляр со скрипкой, на столе лежали книги и несколько нотных листов, а из соседнего окна тянуло запахом вечернего города — пылью, камнем, горячим металлом трамвайных рельсов и морем, которое в Барселоне чувствовалось даже там, где его не было видно.

Рита протянула ему книгу.

- Вот. Вы говорили, что не читали.
- Я говорил, что хотел бы прочитать.
- Это не одно и то же.

Фаусто взял книгу, полистал её и сел у стола. Рита устроилась напротив, подперев подбородок ладонью. Некоторое время они говорили о прочитанном, но разговор почти сразу ушёл в сторону: от книги — к людям, от людей — к привычкам, от привычек — к тому, почему одни способны годами жить в ожидании чужого одобрения, а другие предпочитают заранее отказаться от всего, что может сделать их зависимыми.

- Вы всегда были таким? — спросила Рита.
- Каким?
- Уверенным, что вам никто не нужен.

Фаусто хотел ответить шуткой, но почему-то не стал.

- Нет. Раньше я просто не мог себе позволить так думать.

Рита не стала уточнять. Она только кивнула, словно услышала не признание, а нечто, что давно предполагала.

- А теперь можете?
- Теперь могу почти всё.
- Почти?
- Всегда остаётся что-нибудь, чего нельзя купить.
- Например?

Фаусто посмотрел на неё.

- Вы знаете.

Рита отвела взгляд к окну.

- Не уверена.

Он понял, что она намеренно не облегчает ему ответ. Ему хотелось сказать что-нибудь красивое, но все красивые слова показались бы здесь либо слишком дешёвыми, либо слишком похожими на те обещания, от которых Рита с самого начала держалась на расстоянии.

Рита улыбнулась.

- Вы слишком много думаете о деньгах.
- Это профессиональная привычка.
- Вы врач, а не банкир.
- Иногда разница невелика.

Она рассмеялась, и Фаусто почувствовал, что снова говорит с ней свободно, без необходимости производить впечатление. Впервые ему пришло в голову, что Рита могла бы не ответить на его приглашение, не принять подарок, не согласиться на ужин — и всё же остаться рядом, если ей самой этого хотелось. Её присутствие не зависело от его денег, а потому становилось для него чем-то новым и почти тревожным.

Они вышли на улицу, когда солнце уже опускалось за крыши. Рита предложила пройти до Рамблы, но по дороге свернула в сторону небольшого сквера, где между деревьями стояли

скамьи и пахло влажной землёй. На соседней улице играли дети, из открытого окна доносилась музыка, а над домами медленно темнело небо.

Они остановились у низкой каменной ограды. Рита положила руку на край, глядя куда-то поверх улицы, и Фаусто заметил, что ему хочется коснуться её, но он не решается. Это было страннее всего: деньги позволяли ему не ждать, не просить, не сомневаться, но теперь они не давали никакого преимущества.

— О чём вы думаете? — спросила она.

— О том, что вы могли бы не писать мне.

— Могла бы.

— Но написали.

— Да.

— Почему?

Рита повернулась к нему.

— Потому что хотела вас увидеть.

Ответ был прост, почти лишённый защиты, и именно поэтому Фаусто не сразу нашёлся, что сказать. Он привык подозревать в женских словах расчёт, в улыбках — ожидание, в согласии — цену. Но здесь не было ни просьбы, ни намёка, ни даже желания воспользоваться его замешательством.

Рита смотрела на него спокойно.

— Это вас удивляет?

— Немного.

— Тогда вам стоит чаще позволять людям делать то, чего вы от них не ожидаете.

— Опасный совет.

— Вы ведь любите опасности.

— Только те, которыми управляю сам.

— Значит, вам предстоит чему-то научиться.

Они снова пошли. Фаусто уже не пытался придумать, куда именно ведёт их прогулка. Рита рассказывала о каком-то концерте, который должна была посетить через несколько дней, и о книге, которую собиралась вернуть в библиотеку. Он слушал, иногда отвечал, иногда задавал вопросы, но всё это казалось ему необыкновенно важным именно потому, что не имело никакой немедленной цели.

У её дома они остановились. Дверь была закрыта, окна на верхнем этаже светились. Рита повернулась к нему, словно собиралась попрощаться, но не сразу протянула руку.

— Спасибо за вечер, — сказала она.

— Это мне следует благодарить вас.

— Почему?

— Потому что вы его устроили.

— Тогда считайте, что мы квиты.

Она улыбнулась и уже хотела войти, когда Фаусто вдруг сказал:

— Рита.

Она обернулась.

Он не произнёс ничего больше. Рита несколько секунд смотрела на него, затем сделала шаг навстречу. Поцелуй был коротким, почти осторожным, но в нём не было ни случайности, ни вежливости. Она сама приблизилась к нему, сама задержалась на мгновение и сама первой отступила.

Фаусто остался у двери, чувствуя, как вечерний воздух касается лица. Рита уже поднялась на несколько ступеней, когда обернулась ещё раз.

— До свидания, Фаусто.

— До свидания.

Дверь закрылась, а он всё ещё стоял на улице, не испытывая ни желания немедленно уйти, ни привычного нетерпения получить продолжение. Ему хотелось, чтобы этот миг длился дольше, чтобы не наступало следующее движение, следующее слово, следующий час, в котором всё неизбежно изменится.

Мысль возникла внезапно и потому показалась чужой: если бы сейчас можно было остановить время, он, пожалуй, не стал бы возражать.

Но почти тотчас Фаусто отогнал её, как отгоняют нелепую медицинскую гипотезу, не заслуживающую проверки.



Глава 6. Любовь

В следующую встречу — через три дня, которые показались ему длиннее недели, — Рита пришла в его мастерскую. Так он назвал снятую им комнату на втором этаже дома на Калле-де-Фернандо: окно выходило в узкий колодец двора, по стене которого вился жасмин, и его запах мешался с запахом льняного масла и табачной крошки. Комната была захламлена: стопки книг, листы с анатомическими рисунками — наследие медицинских занятий, — пустые бутылки из-под содовой, пальто, брошенное на спинку стула. В полумраке — единственная лампа с зелёным абажуром — все предметы казались мягче, чем были.

Фаусто говорил что-то о своём знакомом хирурге, о каком-то случае в больнице Сант-Пау, но голос его стал тише и глуше, когда Рита, слушая, опустила голову и стала перебирать бумаги на столе. Он замолчал. Она подняла глаза. Он стоял рядом — слишком близко, как стоял бы человек, забывший о дистанции, или как стоял бы тот, кто хорошо помнил о ней и хотел, чтобы она об этом помнила тоже.

Его рука поднялась — медленно, с осторожностью хирурга, — и пальцы коснулись её запястья. Потом он наклонился и поцеловал внутреннюю сторону, где кожа была тоньше и где синяя жилка пульсировала под его губами. Рита не шевельнулась. Его дыхание — тёплое, влажное — легло на её кожу, и она почувствовала, как внизу живота что-то сжалось — тупое, ноющее, как голод.

А потом она сделала то, чего он не ожидал. Вместо того чтобы отдернуть руку — как, вероятно, ожидал он по опыту с женщинами, которые либо уступали сразу, либо отступали в смущении, — она сама прижалась щекой к его ладони. Медленно, поворачивая голову, как кошка, трущаяся о руку. Её щека легла на его грубую, пахнущую маслом ладонь, и она вдохнула этот запах — табак, кожа, мыло с креозотом — и закрыла глаза.

Фаусто застыл. Она чувствовала, как его пальцы дрогнули — едва заметно, как дрожит скальпель в руке, которая неуверенна, — и это дало ей странное, острое удовольствие. Он привык к тому, что его руки — те, что ведут. А сейчас она держала его ладонь у своего лица, и он не двигался, потому что любое движение разрушило бы хрупкое равновесие этого момента.

Она видела его эгоизм — или, точнее, чувствовала его, как чувствуют трещину в стене, по которой ползёт вода. Он был из тех, кто берёт. Его красивое, «интеллигентное» лицо несло печать привычки к желанию, которое не спрашивает. Но её собственное желание было сильнее страха — сильнее тихого голоса, который напоминал, что приличная женщина из семьи Рибера не ходит в мастерские к мужчинам, которые целуют её запястья. Этот голос звучал, но был далёким, как звон трамвая на соседней улице, — она слышала его, но не собиралась выходить на остановку.

Когда его другая рука легла ей на талию и он попытался притянуть её к себе, она упёрлась ладонью ему в грудь. Мягко, но твёрдо — так, что его рывок остановился, а пальцы на её талии замерли, не отпуская, но и не сжимая. Она подняла на него глаза. Он смотрел сверху вниз — высокий, худощавый, с зачёсанными назад тёмными волосами, в которых уже проступала ранняя седина на висках, — и в его взгляде было нетерпение, смешанное с замешательством.

— Не сейчас, — сказала она. Голос был ровный, но губы, когда она произносила это, чуть дрожали, и она знала, что он это видит.

Его грудь под её ладонью поднималась и опускалась. Сердце билось быстро — она ощущала его удары сквозь тонкую ткань рубашки. Он не двинулся. Она удерживала его одной рукой, и в этой власти — власти остановить его, заставить ждать — было что-то опьяняющее, более сильное, чем само его прикосновение.

Она убрала руку. Отступила на шаг. Поправила воротник, хотя в нём не было нужды. Он смотрел на неё с выражением, которое она не могла разобрать — не обида, не удивление, а что-то среднее, как у человека, которому показали карту, но не сказали, в какую сторону идти.

— Проводи меня, — сказала она.

Он молча взял пальто.

Последний вечер наступил через неделю. За окнами лил тёплый дождь — один из тех барселонских ливней, что приходят с моря в июле, густых и коротких, пахнущих пылью и горячим камнем. Город утонул в синеве сумерек, и фонари на Рамбле расплывались в мокром воздухе, как размытые монеты.

Рита пришла к нему. Не он позвал её — она сама постучала в дверь мастерской, и когда он открыл, она увидела на его лице то, чего не видела раньше: он не ждал. Он приготовился к одиночеству этого вечера, и её появление на пороге — мокрая прядь на лбу, капли дождя на плаще, который она не расстегнула, — застало его врасплох.

Она шагнула к нему. Не в дверь — к нему. Её руки легли на лацканы его пиджака, и она почувствовала под пальцами ткань, влажную от пара с улицы. Он выдохнул её имя — «Рита» — и в этом выдохе было всё то, что он не умел говорить словами: удивление, жадность, вопрос.

Она не дала ему спросить. Потянула его за лацканы к себе и поцеловала.

Его рот был тёплый, с привкусом кофе и табака. Он замер на мгновение — целое, невыносимое мгновение, — а потом его руки, наконец получившие разрешение, скользнули ей на спину. Пальцы нашли крючки платья — она чувствовала, как они возятся с застёжками, неумело и жадно, и это было не похоже на уверенность, которую она видела в его взгляде в кафе. Здесь, в полумраке мастерской, под стук дождя по стеклу, он был другим — нетерпеливым, почти неуклюжим, и от этого её охватила нежность, острая, как зубная боль.

Она выгнулась ему навстречу, когда ткань платья с шорохом упала к ногам. Прохладный воздух коснулся обнажённой кожи, и по ней прошла дрожь, но его ладони — горячие, сухие, с мозолями на подушечках — легли ей на лопатки и прижали к себе, и дрожь сменилась жаром.

Он целовал её шею. Медленно, спускаясь от мочки уха к ямке под челюстью, потом — к ключицам. Его губы были сухие и чуть шершавые, и там, где они касались, кожа краснела, как от лёгкого ожога. Рита запрокинула голову, впинаясь ногтями ему в плечи сквозь ткань рубашки, и услышала — скорее почувствовала, чем услышала — глухой звук, который он издал, когда её ногти проехали по его спине.

— Подожди, — прошептала она, и он замер.

Она отстранилась на полшага. Стянула через голову комбинацию — тонкое полотно прилипло к влажной коже, и ей пришлось повозиться, — и бросила на стул. Стояла перед ним в чёрных чулках с кружевной резинкой и туфлях, которые тут же сняла, потому что каблуки стучали по полу, и этот стук казался нелепым. Родинка у уголка губ дрогнула, когда она кусала нижнюю губу, глядя на него.

Фаусто смотрел. Его руки висели вдоль тела, и пальцы подрагивали, как у человека, который силится удержать что-то хрупкое. Потом он снял рубашку — быстро, с дрожью в пальцах на пуговицах, — и бросил куда-то в сторону.

Он подхватил её на руки. Она охнула — не от веса, а от неожиданности, — и обвила его шею руками, прижимаясь щекой к его виску, чувствуя, как его сердце колотится у её ключицы. Он нёс её через комнату, и она видела в полумраке очертания дивана — старого, с обивкой из выцветшего бархата, — на который он опустил её, как опускают на стол драгоценный инструмент.

Рита потянула его за галстук. Узел не поддавался — её пальцы скользили по шёлку, — и она нетерпеливо дёрнула, и галстук соскользнул, и она отбросила его в темноту. Притянула его к себе. Почувствовала жар его тела сквозь тонкую ткань рубашки, которая осталась на нём, — он не успел снять её, или забыл, или не мог ждать, — и этот жар, этот голод, который она

ощущала в том, как его дыхание учащалось у её рта, передавался ей, перетекая из его тела в её, как лихорадка.

— Иди сюда, — сказала она, и голос её был хриплым, низким, не похожим на её обычный голос.

Его рот нашёл её губы. Поцелуй был глубокий, жадный, с зубами и языком, и она отвечала тем же — кусала его нижнюю губу, тянула, отпускала, ловила снова.

После оргазма была тишина. Звнящая, влажная. Дождь за окном стих, оставив лишь редкие капли, стекающие по стеклу с тихим, неровным стуком. Рита лежала, глядя в потолок — в трещину, которая бежала по штукатурке, как река по карте, — и чувствовала, как его пальцы рассеянно чертят узоры на её плече. Бессмысленные, бесцельные — круги, восьмёрки, линии, которые никуда не вели.

В её груди смешались нежность и странная пустота — как в комнате, из которой вынесли мебель: стены есть, а внутри — ничего. Она перешагнула черту, и мир стал другим. Не хуже, не лучше — другим. И от этого «другого» было немного не по себе, как от первого глотка крепкого ликёра на пустой желудок.

Фаусто, напротив, казался удовлетворённым и спокойным. Его дыхание уже выровнялось, а взгляд был устремлён в темноту, и в этом взгляде не было ни нежности, ни вопроса — только спокойствие человека, который взял то, что хотел, и теперь обдумывал следующий шаг. Она знала этот взгляд. Видела его в кафе, когда он считал песеты, — тот же расчёт, та же оценка.

Рита провела ладонью по его щеке. Кожа была влажной, тёплой, с лёгкой щетиной, которая колола её пальцы. Он перехватил её руку и поцеловал кончики пальцев — но в этом жесте было больше привычки, чем страсти. Так целуют руку, когда не знают, что с ней делать. Так закрывают дверь, которая и так уже затворена.

Она поняла. Не сразу — постепенно, как понимают, что свет в окне погас. Он взял своё. А она отдала больше, чем хотела. Не тело — тела было не жалко, тело хотело и получило. Она отдала что-то другое — то, что не имело названия, но что ощущалось как убыль, как дыра в ткани, через которую теперь тянуло сквозняком.

Неловкость повисла между ними, как плотная занавеска. Он лежал рядом, и их тела соприкасались — бедро к бедру, плечо к плечу, — но между ними выросло что-то непроницаемое, и Рита не знала, кто из них возвёл эту стену: он, своим спокойствием, или она, своим молчанием.

Она натянула на себя край покрывала. Ткань была прохладная, чуть шершавая, и пахла лавандой и пылью.

— Мне пора, — сказала она тихо.

Голос прозвучал глухо, как из-за стены. Он повернул голову. Посмотрел на неё — не глазами, которыми смотрел минуту назад, когда двигался в ней, а другими, теми, которыми смотрел на мир: оценивающе, с лёгким прищуром, словно прикидывая, сколько весит то, что она сказала.

Он не стал удерживать. Кивнул — коротко, чуть поведя подбородком, и в этом кивке она прочла не сожаление, не просьбу остаться, а осознание своей победы. Он получил, что хотел. Кивок был печатью на документе — дело сделано.

Рита встала. Одевалась спиной к нему — не из стыдливости, а потому что не хотела, чтобы он видел её лицо. Платье застегнулось с трудом — пальцы скользили по крючкам, и один — третий сверху — не поддавался, и она дёрнула его, и крючок впился в ткань, но в конце концов поддался. Туфли — мокрые снаружи, но сухие внутри. Плащ. Она поворачивалась к двери, и он всё ещё лежал на диване, и покрывало сбилось у его бёдер, и в полумраке его тело казалось вырезанным из тёмного дерева — длинное, худое, с рёбрами, проступающими под кожей.

— Рита, — сказал он.

Она остановилась. Не обернулась.

— Спасибо, — сказал он.

Это «спасибо» ударило её, как пощёчина. Не грубость, не нежность — вежливость. Он сказал «спасибо» так, как говорят за поданный стакан воды. Она стиснула зубы. Родинка у уголка губ дрогнула.

— Не за что, — ответила она и вышла.

Улица была мокрой. Булыжник блестел в свете редких фонарей, как спины спящих зверей, и отражения света в лужах дрожали от ветра, который нёс с моря запах водорослей и угля. Рита шла быстро, стуча каблуками по мокрому камню, и плащ промок в первые же минуты, но она не замечала. Лицо горело — не от холода, не от дождя, а от чего-то, что было внутри, и что она не могла ни назвать, ни прогнать.

Рита свернула на Рамбла. Фонари расплывались в тумане, как размытые монеты. Дождь кончился. Где-то вдалеке, в стороне порта, играла гитара — медленная, хабанера, и её ритм совпадал с ударами сердца, и Рита шла в этот ритм, и каблуки стучали по мокрому камню, и город лежал перед ней — тёмный, тёплый, пахнувший жасмином и морем — и был её.



Глава 7. Нелюбовь

Утро после ухода Риты наступило обыкновенно, без всякого знака, который мог бы объяснить Фаусто, почему комната вдруг показалась ему чужой. За окном, в узком колодце двора, шевелились листья жасмина; где-то внизу хлопнула дверь, послышались шаги, затем короткий кашель и скрип тележного колеса. Солнечный свет ещё не достиг окна, и зелёный абажур оставался погашенным, но его стекло тускло отражало серое утро.

Фаусто лежал на диване, глядя в потолок. Покрывало, сбившееся за ночь, он не стал поправлять. Ему казалось, что он должен испытывать удовлетворение: всё произошло именно так, как он хотел, Рита сама пришла к нему, сама осталась, сама ответила на его поцелуй и не произнесла ни одного слова, которое можно было бы принять за сожаление. Никакого обмана не было. Никакого принуждения. Даже неловкость последних минут он объяснял усталостью и естественной застенчивостью.

Только её лицо, которого она не хотела ему показывать, почему-то не укладывалось в эту простую картину.

Он вспомнил, как она застёгивала платье, как третий крючок не сразу поддался, как она стояла спиной к нему, словно между ними уже возникло расстояние, хотя дверь ещё оставалась открытой. Затем вспомнил собственное «спасибо» и почти вслух произнёс:

— Что же тут такого?

Вопрос прозвучал убедительно. Фаусто даже улыбнулся, довольный тем, что нашёл объяснение. Благодарность не могла быть оскорблением, если она была искренней. Он ведь не смеялся над Ритой, не обращался с ней грубо, не предлагал денег и не пытался удержать её против воли. Напротив, он постарался быть деликатным.

Он встал, прошёл к умывальнику, плеснул в лицо холодной водой и долго вытирался полотенцем, которое уже начинало приобретать сероватый оттенок. На столе лежала книга, оставленная Ритой во время последнего визита; рядом — её тонкая перчатка, которую она, вероятно, не заметила, собираясь уходить. Фаусто взял перчатку, повертел в пальцах и положил обратно.

Это была первая вещь, которую она оставила у него, и он не знал, считать ли её случайностью или знаком.

Затем его охватило раздражение. Он не любил загадок, особенно тех, которые возникали там, где, по его мнению, всё было достаточно ясно. Если Рита была недовольна, она могла бы сказать об этом. Если хотела уйти — ушла. Если же ждала от него каких-то особенных слов, то почему не объяснила, каких именно?

Фаусто оделся, заказал завтрак в ближайшем кафе и, пока ждал, написал короткую записку:

«Дорогая Рита. Надеюсь, ты хорошо добралась. Мне хотелось бы увидеть тебя снова. Если ты свободна в ближайшие дни, дай мне знать. Фаусто».

Он перечитал записку, убрал слово «дорогая», затем снова его вписал. После этого показалось, что оно звучит слишком привычно, почти фамильярно, и он заменил его на «Рита». Получилось холоднее, чем хотелось, но зато, как ему думалось, точнее.

Записку он передал через мальчика из соседней мастерской, который иногда выполнял для жильцов мелкие поручения. Фаусто заплатил ему больше обычного и сразу пожалел об этом: мальчик посмотрел на монету с таким вниманием, будто она могла сообщить ему нечто важное о поручителе.

Весь день Фаусто занимался делами, которые прежде считал приятными: зашёл к портному, заглянул в книжную лавку, выпил кофе на Рабле, долго рассматривал прохожих. Но всё

это делалось без прежнего вкуса. Он несколько раз ловил себя на том, что ищет среди людей знакомую фигуру, а затем сердился на себя за эту невольную привычку.

Ответа не было ни вечером, ни на следующий день.

На третий день Фаусто решил, что ждать больше не имеет смысла. Он отправился к дому Риты ближе к полудню, когда улица уже наполнилась светом, голосами и запахами готовящейся еды. У двери он остановился, поправил галстук и постучал.

Открыла ему сама Рита. На ней было простое домашнее платье, волосы собраны небрежно, на пальцах остались следы чернил. Увидев Фаусто, она не испугалась и не обрадовалась — только чуть заметно напряглась.

— Ты получил мою записку? — спросил он.

— Да.

— И?

— Я не знала, что ответить.

Он посмотрел на неё внимательнее. Лицо Риты было спокойным, но спокойствие это казалось не естественным, а тщательно удерживаемым.

— Я сделал что-нибудь не так?

— Нет.

— Тогда почему ты не хочешь меня видеть?

Рита на мгновение закрыла глаза, словно услышала вопрос, которого ожидала и всё же надеялась избежать.

— Я не сказала, что не хочу тебя видеть.

— Но ты не отвечала.

— Я думала.

— О чём?

— О том, что произошло.

Фаусто почувствовал, как в нём поднимается раздражение, хотя внешне он сохранил любезность.

— Рита, мы оба взрослые люди. Ты сама пришла ко мне.

— Я знаю.

— Тогда я не понимаю, в чём проблема.

Она посмотрела на него, и в её взгляде впервые появилась усталость. Из глубины дома донёсся звук передвигаемого стула. Рита обернулась, затем снова посмотрела на Фаусто.

— Я не могу сейчас говорить.

— Почему?

— Потому что ты уже решил, что всё было просто.

— А разве нет?

Рита не ответила. Она лишь придержала дверь, давая понять, что разговор окончен.

Фаусто сделал шаг назад.

— Хорошо. Когда ты захочешь объяснить, я выслушаю.

Дверь закрылась тихо, почти вежливо. Фаусто остался на улице, чувствуя себя человеком, которому отказали не в любви и даже не во встрече, а в праве считать ситуацию понятной. Он медленно спустился по улице, остановился у витрины и увидел в отражении собственное лицо — спокойное, ухоженное, немного бледное.

Ему вдруг пришло в голову, что Рита, вероятно, ждала от него извинений.

Но за что именно?

Он перебрал в памяти весь вечер и не нашёл поступка, который заслуживал бы извинения. И всё же ощущение вины, ещё слабое и почти безымянное, уже появилось в нём — не как признание ошибки, а как раздражающая заноза, которую невозможно извлечь, пока не поймёшь, где она находится.

В тот же вечер Рита долго не могла сосредоточиться на книге. Она сидела у окна, держа раскрытый том на коленях, но уже несколько минут не переворачивала страницы. За стеной Жоан разговаривал с кем-то по телефону, потом дверь закрылась, шаги приблизились, и он остановился в дверях.

— Это был Фаусто?

Рита подняла глаза.

— Да.

— Что ему нужно?

— Поговорить.

Жоан вошёл и сел напротив. Некоторое время он молчал, не торопясь задавать следующий вопрос.

— Ты из-за него расстроена?

— Я сама не знаю.

— Тогда он тебе не подходит.

Рита усмехнулась.

— Ты слишком быстро выносишь приговоры.

Она закрыла книгу.

— Он не преступник, Жоан.

— Я этого и не говорил.

Рита отвернулась к окну. На улице уже зажглись первые фонари, и свет от них ложился на стекло бледными прямоугольниками.

— Он совсем другой. Ты его ненавидишь?

— Нет. Я ему не доверяю.

— Почему?

Жоан немного подумал.

— Потому что он привык жить так, будто всё, что ему нужно, должно принадлежать ему.

Рита хотела возразить, но не нашла сразу слов.

— Я сама этого хотела.

— Верю.

В этих словах не было ни осуждения, ни удивления, и именно поэтому Рита почувствовала себя ещё хуже. Жоан поднялся и вышел, оставив дверь открытой.

Рита снова раскрыла книгу, но читать не стала. Она думала о Фаусто и злилась на Жоана за то, что тот увидел в нём именно то, чего она сама пока не хотела видеть.

Ей было особенно неприятно другое: она ведь могла сказать брату, что Фаусто ей нравится, что она сама пошла к нему, сама осталась и сама поцеловала его перед тем, как всё произошло. Могла даже сказать, что не жалеет об этом.

Но почему-то не сказала.

А значит, дело было не только в Жоане.

Через несколько дней Фаусто снова встретил Риту — на этот раз случайно, у книжной лавки на Рамбле. Он увидел её раньше, чем она его, и некоторое время просто шёл следом, не решаясь окликнуть. Наконец Рита сама обернулась.

— Ты меня преследуешь?

— Как ты?

— Нормально. А ты?

— Тоже.

Они пошли рядом. Первые несколько минут говорили о пустяках, словно ничего не произошло. Потом Фаусто остановился.

— Я не понимаю, чего ты от меня хочешь.

Рита посмотрела на него.

— И я не понимаю.

Они продолжили идти. Рита рассказывала что-то о книге, которую искала, но Фаусто почти не слушал. Ему было достаточно одного: она не исчезла.

У перекрёстка Рита остановилась.

— Мне пора.

— Увидимся?

Она посмотрела на него несколько секунд.

— Возможно.

И, прежде чем уйти, сама коснулась его руки. Это было совсем лёгкое прикосновение, но Фаусто почувствовал его сильнее, чем многие прежние поцелуи. Он вдруг понял, что всё ещё хочет её — не как прежде, когда желание означало немедленное получение желаемого, а с каким-то новым, непривычным беспокойством.

Рита уже отошла на несколько шагов, когда обернулась.

— Фаусто.

— Да?

— В следующий раз не говори мне «спасибо».

Она ушла, а он остался посреди улицы, впервые совершенно ясно понимая, что между ними произошло нечто такое, чему он пока не умеет дать название.

На следующий день Фаусто решил, что должен наконец поговорить с Жоаном. Ему самому эта мысль казалась немного смешной: ещё несколько месяцев назад он не стал бы тратить и десяти минут на человека, который считал себя вправе судить о его жизни, но теперь почему-то чувствовал, что без этого разговора история с Ритой останется незаконченной.

Жоан встретил его у дома.

— Рита дома?

— Нет.

— Тогда я подожду.

— Не надо.

Фаусто посмотрел на него с удивлением.

— Я пришёл не ссориться.

— А зачем?

— Поговорить.

Жоан прислонился к дверному косяку.

— О чём?

— О Рите.

— Тебе не о чем с ней говорить.

Фаусто почувствовал, как раздражение, которое он несколько дней пытался подавить, наконец вышло наружу.

— Ты считаешь себя её хозяином?

Жоан пожал плечами.

— Мне не нравится, как ты живёшь.

— Это тебя не касается.

— Пока нет.

Фаусто усмехнулся.

— Вот теперь ты говоришь как настоящий революционер.

— А ты — как человек, который думает, что деньги отменяют всё остальное.

— Деньги, по крайней мере, позволяют человеку быть свободным.

Жоан посмотрел ему прямо в глаза.

— Свободным от чего?

Фаусто не ответил сразу.

В этот момент на улице появилась Рита. Она остановилась, заметив их, и сразу поняла, что разговор пошёл совсем не так, как хотелось бы.

— Что происходит?

— Ничего, — сказал Жоан.

— Мы просто разговариваем, — одновременно с ним произнёс Фаусто.

Рита посмотрела сначала на брата, потом на Фаусто.

— Тогда почему вы оба выглядите так, будто собираетесь драться?

— Я не собираюсь, — сказал Жоан.

— И я тоже.

Рита вздохнула.

Жоан отошёл в сторону, пропуская её к двери.

— Я сказал всё, что хотел.

Фаусто задержался ещё на мгновение.

— И я.

Он повернулся и пошёл прочь, стараясь сохранить спокойствие, но слова Жоана продолжали звучать в голове. Фаусто не боялся Жоана. Он вообще не привык бояться людей.

Но впервые ему пришло в голову, что человек может быть опасен не потому, что имеет власть, деньги или оружие, а потому, что готов поставить на карту собственную жизнь ради того, во что верит. Эта мысль ему не понравилась.

На следующий день Фаусто обнаружил, что злость на Жоана прошла гораздо быстрее, чем ожидал. Осталось только неприятное чувство, будто кто-то позволил себе заглянуть туда, куда его не приглашали.

Он решил не думать об этом и отправился завтракать в кафе на Рамбле. Там было шумно, солнечный свет падал на столы, официанты торопились между посетителями, за соседним столиком двое мужчин спорили о бирже, и всё вокруг напоминало Фаусто о том, что жизнь продолжается независимо от его неприятностей.

Но Рита не выходила у него из головы. Он достал часы, посмотрел на них и вдруг понял, что уже несколько минут делает это совершенно без причины.

К вечеру он вернулся в свою комнату на Калле-де-Фернандо. Поставил на стол бутылку вина, открыл книгу, но прочёл всего несколько страниц. Потом подошёл к окну, вдыхая запах жасмина. Фаусто вспомнил Риту в этой комнате и впервые подумал не о том, как вернуть её расположение, а о том, почему ему вообще так важно, чтобы она вернулась.

Ответ оказался неприятно простым. Он скучал.

Это слово показалось ему почти унижительным. Скучать можно было по развлечению, по путешествию, по хорошей еде, даже по женщине, если речь шла о привычке. Но Рита не была привычкой. Он не видел её всего несколько дней, а отсутствие её голоса уже меняло весь его день.

Фаусто налил себе вина и сел у лампы.

В этот момент в дверь постучали.

Фаусто поднял голову.

За дверью никого не было. На полу лежала небольшая записка. Он поднял её и узнал почерк Риты.

«Завтра вечером я приду».

Фаусто перечитал записку и почувствовал облегчение, которого не хотел признавать.

Рита пришла на следующий вечер немного позже назначенного времени. Фаусто к этому времени уже успел дважды пройти от окна к двери и обратно, открыть книгу, прочесть одну страницу, закрыть её и в конце концов решить, что ожидание ему совершенно безразлично. Когда в коридоре послышались шаги, он всё-таки поднялся сразу.

Рита вошла без верхней одежды, передав плащ ему. Он повесил его на спинку стула и только тогда заметил, что она выглядит спокойнее, чем несколько дней назад. Не веселее и не холоднее — просто спокойнее, словно за прошедшее время она успела принять какое-то решение, о котором пока не собиралась ему сообщать.

На столе стояла бутылка вина. Фаусто посмотрел на неё, потом на Риту.

— Я не буду.

Он молча убрал бутылку в шкаф.

Это почему-то понравилось ей больше, чем если бы он начал расспрашивать.

Рита подошла к окну. Во дворе уже сгущались сумерки, и жасмин на стене казался почти чёрным. Из соседнего дома доносилась музыка, где-то на улице проехал трамвай, звякнув на повороте. В комнате было тесно, но в этот вечер теснота не казалась ей неприятной.

Фаусто остался стоять у стола.

— Я долго думала, нужно ли приходить.

— Зачем пришла?

Рита обернулась.

— Потому что не хотела заканчивать всё на той улице.

Он понял, о чём она, но не стал называть это вслух. Ему вдруг стало неловко вспоминать собственное «спасибо», хотя ещё утром оно казалось совершенно невинным.

Рита заметила его взгляд.

— Я не жалею о том, что было.

Он едва заметно выдохнул.

— Хорошо.

— Но мне не понравилось, чем это кончилось.

Фаусто сел на край стола. За последние дни он уже несколько раз пытался найти объяснение её обиде и каждый раз приходил к одному и тому же выводу: он ничего ей не обещал, ничего не требовал, ни к чему не принуждал. В его представлении это означало, что он не мог быть виноват.

Но теперь эта логика почему-то перестала работать.

— Я думал, что был вежлив.

— Ты был вежлив.

Она сказала это без насмешки, и оттого слова прозвучали тяжелее.

— Вот в чём беда.

Фаусто посмотрел на неё.

Рита отошла от окна и медленно провела пальцами по корешкам книг на полке. Она не искала нужной книги — просто ей было легче говорить, занимая руки.

— Ты привык, что между людьми всё можно устроить заранее. У каждого своя цена, своё место, свои обязанности. Тогда ничего не болит.

— А что должно болеть?

— Ничего. Если тебе повезёт.

Он усмехнулся, но Рита не ответила улыбкой.

За окном кто-то засмеялся. Фаусто вдруг подумал, что раньше ему нравился именно этот шум города: чужие голоса, чужие жизни, которые никак не касались его собственной. Теперь ему впервые хотелось, чтобы за стенами стало тише.

Фаусто подошёл к окну. Они оказались рядом, почти соприкасаясь плечами. Несколько секунд оба смотрели во двор.

— Мне не всё равно, — сказал он.

Рита не ответила сразу. Внизу закрылась дверь, затем кто-то позвал ребёнка по имени. Город продолжал жить своей жизнью, не замечая их маленькой, совершенно частной перемены.

— Этого пока достаточно, — сказала она.

Он повернулся к ней. Рита сама вложила свою руку в его ладонь. Жест был спокойным и совершенно осозанным, без прежней поспешности. Фаусто сжал её пальцы, но ничего больше не сделал.

В этот раз он не хотел торопить мгновение.

После этого они вышли на улицу.

Дождь закончился недавно, и Барселона блестела под вечерними фонарями, будто кто-то нарочно протёр камень и чёрные листья платанов. Воздух был влажным, с моря тянуло прохладой, а от открытых дверей кафе пахло кофе, табаком и горячим хлебом. Рита шла рядом, не беря его под руку. Фаусто тоже не торопился приблизиться, словно между ними установилось новое, пока ещё непривычное расстояние, которое оба старались не нарушать.

Они свернули с Рамблы в сторону Готического квартала. Узкие улицы быстро поглотили городской шум, и только редкие шаги отдавались от каменных стен. Из окна над ними кто-то вылил воду, она тонкой струёй стекла в водосток. Рита остановилась перед витриной небольшой музыкальной лавки. За стеклом лежали ноты, несколько пластинок и старый граммофон с большим растробом.

Через несколько минут они оказались на площади, где несколько человек сидели за столиками под навесами. Рита выбрала место в стороне от улицы. Фаусто заказал кофе для неё и коньяк для себя, но, когда официант отошёл, Рита поменяла чашку на его стакан.

— Мне кажется, тебе полезнее кофе.

— Ты хочешь мной командовать?

— Только напитком.

Он уступил.

Они сидели молча, наблюдая за прохожими. Фаусто вдруг обнаружил, что ему нравится именно это — не ресторан, не дорогая бутылка вина, не возможность заплатить за всё, что находится вокруг, а несколько часов, которые не нужно превращать во что-нибудь полезное.

Рита положила локоть на стол. Он посмотрел на неё и впервые за весь вечер улыбнулся без привычной иронии.

Когда они вышли с площади, стало темнее. На Рамбле зажглись витрины, над улицей зажужжали первые электрические вывески. Рита шла рядом, иногда задевая его плечом, и ни один из них больше не пытался объяснить, что между ними происходит.

У её дома она остановилась.

— До завтра?

Фаусто кивнул.

— До завтра.

Она уже взялась за ручку двери, когда он окликнул её:

— Рита.

Она обернулась.

Он хотел сказать что-нибудь значительное, но все подходящие слова показались ему слишком большими и потому фальшивыми.

— Ничего, — сказал он.

Она улыбнулась и вошла.

Фаусто ещё несколько секунд стоял на улице, потом пошёл обратно. На перекрёстке он машинально посмотрел на часы и вдруг понял, что впервые за долгое время совершенно не знает, сколько сейчас времени.



Глава 8. Перед бурей

Лето пришло в Барселону почти незаметно, как приходит в приморские города всё, что связано с теплом: сначала воздух сделался плотнее, потом каменные стены начали удерживать дневной зной до позднего вечера, а затем окна распахнулись настежь, и из каждой квартиры, из каждого внутреннего двора, из каждой лавки на улицу потекли запахи кофе, жареной рыбы, пыли, мыла и нагретого дерева. Город продолжал жить своей шумной, торопливой жизнью, не спрашивая у людей, что они собираются делать со своими судьбами, и Фаусто поначалу был этому даже рад.

После их примирения отношения с Ритой вошли в его жизнь с той естественностью, с какой в неё входили прежде дорогие рестораны, случайные знакомства, прогулки у моря и вечера, проведённые без всякой цели. Только теперь у привычной свободы появилось одно исключение, которое он не считал ограничением: несколько раз в неделю он непременно должен был увидеть Риту, услышать её голос, пройти с ней по улицам, посидеть в кафе или провести вечер в её доме, где Жоан всё чаще отсутствовал, а если и появлялся, то ограничивался коротким кивком и не вмешивался в их разговоры.

Фаусто не называл это зависимостью. Зависимость, по его мнению, была свойственна людям слабым, не умеющим распоряжаться собой, тогда как он всего лишь обнаружил, что некоторые удовольствия становятся приятнее, если повторяются с одним и тем же человеком. Он по-прежнему мог в любой момент уехать, исчезнуть на несколько дней, потратить деньги на что-нибудь совершенно бессмысленное или провести ночь в одиночестве, однако всё чаще замечал, что не делает этого, хотя прежде именно такая возможность и казалась ему главным доказательством свободы.

Рита не спрашивала, почему он приходит так часто. Она принимала его появление без удивления, иногда встречала у двери, иногда заставляла ждать, если была занята книгой или разговором с Жоаном, иногда сама присылала записку, написанную на небольшом листке плотной бумаги, и в этих записках было мало слов, но Фаусто всякий раз перечитывал их несколько раз, словно за краткостью скрывалось нечто, чего он ещё не научился понимать.

Они гуляли по вечерам, когда жара спадала и над улицами появлялся морской ветер. Иногда доходили до порта, где пахло канатами, рыбой и углём, иногда сворачивали в Готический квартал, где сумерки наступали раньше, чем в других частях города, и старые дома, нависавшие друг над другом, казались молчаливыми свидетелями чужих жизней. Рита любила останавливаться у витрин книжных лавок, рассматривать афиши, читать названия спектаклей и концертов, а Фаусто делал вид, будто всё это интересует его не меньше, хотя на самом деле ему нравилось наблюдать за тем, как она выбирает, на что обратить внимание.

Они говорили о книгах, но всё реже — о тех великих именах, которые прежде служили им удобными знаками различия. Рита могла рассказать о прочитанном романе, о человеке, которого встретила на улице, о споре в университете, о музыке, услышанной из открытого окна, и Фаусто слушал, хотя не всегда соглашался. Ему нравилось, что её мысли не стремятся немедленно превратиться в систему, что она способна одновременно восхищаться чем-нибудь и сомневаться в этом, защищать человека и видеть его слабости.

Иногда они ужинали в небольших заведениях, где официанты знали постоянных посетителей, а столы стояли слишком близко друг к другу. Фаусто по привычке хотел заказывать лучшее и самое дорогое, но Рита постепенно приучила его замечать не цену, а вкус. Она могла выбрать простое блюдо, отказаться от вина, если оно ей не нравилось, или предложить пойти пешком вместо того, чтобы брать автомобиль. Он сперва воспринимал это как причуду, затем

— как особенность её характера, а потом стал замечать, что сам начинает предпочитать её выбор собственному.

Ему казалось, что всё это ничего не меняет. Он по-прежнему был свободен, по-прежнему не имел постоянной работы, по-прежнему мог распоряжаться деньгами как хотел и не собирался связывать себя ни браком, ни службой, ни какой-либо иной формой обязательства, которую общество привыкло называть взрослой жизнью. Рита не требовала от него объяснений, не устраивала сцен, не спрашивала, кем они приходится друг другу. Поэтому Фаусто был уверен, что их отношения устроены самым разумным образом: они встречаются, когда хотят, расстаются, когда необходимо, и никому ничего не должны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.